



Николай Капитонович Зарубин
Надсада
Серия «Сибириада»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14654570

Николай Зарубин. Надсада: Вече; Москва; 2014

ISBN 978-5-4444-1646-4, 978-5-4444-8290-2

Аннотация

От колонии единоверцев, спасающихся в присаянской глухомани от преследования властей и официальной церкви, к началу двадцатого века остается одна-единственная семья старовера Белова, проживавшая на высылках. Однажды там появляются бандиты, которым каким-то образом стало известно, что Белов знает тайну некоего золотого ручья. Из всей семьи Белова спасается только его младший сын, спрятавшись в зеве русской печи. Тайна золотого ручья передается в семье Беловых из поколения в поколение, но ничего, кроме несчастья, им не приносит и в конце концов приводит к открытому столкновению внука, ставшего лесником, и новых хозяев края...

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	63
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Николай Зарубин

Надсада

© Зарубин Н. К., 2014

© ООО «Издательство «Вече», 2014

Глава первая

Поселок Ануфриево, изогнутыми улицами и переулками, пряслами огородов с плещинами лугов, заросшими по окраинам редкими кустарниками, составленными из чахлах березок, боярышника и черемухи, вторгся в пределы присаянской тайги. За кустарниками вековыми исполинами проглядывают сосны, лиственницы, высокие разлапистые ели, а чуть дальше, в глуби синего неба, явственно проступают вершины Саянских гор, особенно величественно белеющих заснеженными вершинами в самые предвечерние часы. Еще не сумеречно, но уже вот-вот подступит вместе с тенями от притаежной полосы, падающими от огромного солнечного шара, нечто неотвратное, повторяющееся от самого от Сотворения мира, и накроет все сущее, будто бы ничего здесь никогда и не бывало: ни тайги, ни кустарника, ни заснеженных Саянских гор, ни этого поселка Ануфриево. Но и ночь здесь не полновластная хозяйка: через каких-нибудь десять-двенадцать часов отступит и она перед натиском поднимающегося с другой стороны светила, и свершится в очередной раз круговорот, отмеряя сутки, месяцы, годы, тысячелетия, высвобождая пространство для нового витка истории. Историю же, как водится, творят люди. И всему свой черед.

Пришел черед возникнуть в этих местах и поселку Ануфриево, когда по всей Сибири навалились на нетронутые леса, а произошло это за десяток лет до Великой Отечественной войны.

Кого-то селили в приказном порядке, кого-то заманивали рассказами о сытой жизни, с охотой ехала сюда только недавно поженившаяся молодежь, и дела хватало всем.

Ставили дома, мало заботясь об удобствах, больше – о тепле и о внутренних приусадебных постройках, где можно было бы содержать всякую четвероногую животину. Еще думали о вместительном огороде, где было бы выгодно нарастать первому продукту на столе – картошке.

Когда леспромхоз набрал силу, а рабочих рук по-прежнему не хватало, дома уже ставили за счет лесосечного производства: брусовые, двухквартирные, невеселые с виду и не очень теплые. И в эти въезжали прибывающие с ближних заимок и малых деревень поселенцы, коих в округе в дореволюционные времена было не счесть.

Уклад в поселках еще оставался сельским, но сам человек вырождался в придаток лесовозу, пиле, раме, на которой распускали сутунки, нижнему складу, куда свозилась заготовленная древесина. Сельским оставался образ жизни, который он продолжал вести за заплотом собственной усадьбы, где ходил за скотиной, орудовал лопатой, вилами, граблями, подбирая вокруг скирды заготовленного корма распушившиеся сено или солому.

Названия таким поселкам чаще давали по имени протекающих поблизости рек, речушек, ручьев, по месторасположению урочищ, по фамилии первого поселенца или как-то по-иному. Поселок вырос из Ануфриевых выселок, где, как сказывали, еще в девятнадцатом веке проживал некий добытчик пушнины и кедрового ореха по имени Ануфрий, коего вместе с бабой и ребятишками однажды погубили забредшие в эти места шатуны – так в старину прозывали людишек без Бога в душе и без креста на шее. Из Ануфриева племени будто бы спасся только младшой, Афоня, схоронившийся в зеве глинобитной русской печи. Поставлен был здесь, как сообщала молва, младшим Ануфриевым отпрыском в его уже зрелые годы большой лиственничный крест. Однако поселок возник не на самом месте выселок, а чуть в стороне, и сейчас никто не скажет, кому взошла в голову такая мысль – то ли по сложившейся исконной традиции, то ли в память об убиенных, то ли еще почему – назвать поселок по имени первого поселенца – Ануфриево.

В годы военного лихолетья самых крепких мужиков прибрали призывные пункты, на заготовки в зимнее время из ближних деревень в основном наезжали женщины. Жили они

неделями прямо в лесосеках в наскоро сработанных бараках, а к весне выбирались из присаянских глухоманей, разъезжаясь ли, разбредаясь ли по своим деревням, дабы подготовиться к посевной, и до самой глубокой осени гнули спины на полях, на зернотоках, на зерноскладах. Поселковские же бабы оставались один на один с глухо шумевшей тайгой и своей горемычной долей, безропотно дожидаясь окончания войны, чтобы передать на руки мужские ту тяжёлую работенку, высвободив их для работенки женской: на кухне, в стайке, на огороде, для ухода за малыми дитятками, коих, как известно, после войны наплодилась великая прорва.

И возникший не так давно здесь поселок Ануфриево, и близлежащие к нему деревеньки – все это была одна и та же присаянская глухомань, куда не добиралось никакое начальство еще в дореволюционные времена, а советское больше ограничивалось уполномоченными. Хотя секретари партии КПСС местного присаянского пошиба, конечно, бывали, бывали и другие чины пониже, но все они в оценке своей сходились на одном-единственном определении раскинувшихся перед ними необъятных таежных пространств: глухомань, дескать, и что тут еще скажешь...

Глу-у-ухо-ма-а-ань-ь-ь...

Однако глухомань не просто с лесами, топами да болотами, а глухомань, сверху донизу набитая всяческим природным добром, где было все, что только может душа пожелать – душа людишек работных, сметливых, предприимчивых, какие и забирались сюда еще в оные времена и запускали в местную присаянскую землицу свой корень поглубже, чтобы ветви родового дерева раскидывались пошире и повыше. Таких не могли остановить ни огромные, никем не меренные, расстояния, ни зверь, ни адский труд по отвоевыванию даже малого клочка землицы, ни что иное, что бы не смогли сломать, преодолеть, превозмочь.

В такой глухомани вызревали и складывались характеры сильные, личности независимые, судьбы удивительные и многоцветные. Многоцветные по силе и широте размаха, хватке, пригляду, способности обустроить житие в любых условиях.

Ничем особым от других коренных жителей присаянских глухоманей не отличалась и судьба поселенца Степана Белова из не шибко дальнего села Корбой, до которого можно было добраться пешим ходом тропами – по ним во все времена ходили звери и промысловики. Тропы эти будто бы ведомы были отпрыску Ануфриеву, и будто бы ими он и пожаловал в места своего деда, о чем поговаривали промеж собой все, кому до того была забота. А то, что Степан был внуком того Ануфрия и, значит, сыном Афони, сомнений ни у кого не вызывало. Сказывали даже, что будто бы перед тем, как навсегда закрыть очи, сам Афоня наказывал своим сынам Степке и Даниле вернуться в Ануфриевские выселки и там поставить дома, пустив корни беловские в самую глубь родной сибирской землицы.

Но и это еще не все: передавали друг другу все неправдоподобное, будто от Ануфрия оставался здесь до времени закрытый клад из обнаруженной им в здешних местах золотой жилы и что будто бы за это и пострадало семейство Ануфриево от шатунов, требовавших свести их к золотоносной жиле да получивших упорный отказ.

Степан был относительно молод, но, как и большинство его одногодков, призван был в самый переломный 1943 год и сполна хлебнул фронтовой мурцовки. А она, война эта страшная, на человека накладывала особую печать зрелости и ответственности за все происходящее вокруг. Потому в лесосеке задержался годов с десять, а потом был поставлен заведующим нижним складом, попутно отвечая за все конное хозяйство леспромхоза. Должностью своей немалой тяготился и однажды, к недоумению начальства, попросился в кузню.

– Знать, – пояснил дома жене Татьяне, – хоть и небольшой начальник, а все же начальник. Значица, над людьми. А я хочу живого дела, чтобы люди не обходили меня стороной. Я вить вопче люблю быть на людях.

– Ну и...

Хотела сказать «дурак», но вовремя прикусила язык и лишь выдавила:

– И – ладно. Тока Люба вон подрастат – в Иркутске хочет учиться. Там Володя в года начнет входить, и ему нужна будет помощь. Там и младшенький, Витька. А ты... в кузне балдой махать? Здоровья, че ли, много?..

– Здоровья пока хватит. Будут работать, и у них все будет, – буркнул Степан и, ничего более не говоря, пересел от стола к печке, доставая из нагрудного кармана кисет и аккуратно сложенные листки газетной бумаги.

На том и поставили точку. Татьяна поохала, поворчала, сбегала к двум-трем соседкам, сделала было попытку приступом взять замкнувшегося мужа, но махнула рукой и ушла доить корову. За утренним самоваром больше, чем всегда, дула в блюдце с чаем, скорбно поглядывая в сторону мужа и дочери, будто хотела сказать, мол, «вот погодите... вспомните еще мать... не слушаете... пого-оди-те-э...»

У Степана с Татьяной смолоду промеж собой не водилось, как супруг выражался, «телячьих нежностей», не добавилось взаимопонимания и к годам зрелым.

«Дурак был», – ответил ей коротко, когда во время очередной перепалки супруга спросила, давась притворными слезами, мол, чего ж тогда женился на мне, ежели все боком да стороной, живая, мол, она, и живого ей хочется.

Степан посмотрел на нее долгим взглядом, ничего не сказав, вышел на улицу.

Не складывались отношения с Татьяной и никогда больше не сложатся. Слишком разные они были люди. Он работал для того, чтобы в доме был достаток, чтобы учились дети, чтобы каждый рубль был оплачен честным трудом. Она – лишь бы какой рубль, хоть воровской, и чтобы чулок был набит битком.

Сколько корил, ругал, раза два даже поднял руку за то, что доила корову, перегоняла молоко на сливки и продавала поселковым. Детей же поила обратом. А созревала ягода, гнала его с детьми в тайгу за черникой, брусникой, клюквой и все это добро переводила на рубли. Так же поступала с кедровым орехом, для заготовки которого Степан каждый год брал отпуск. И не прекращала притворно охать, ахать, подносить концы платочка к глазам, сокрушаться по поводу безденежья, что, живя с ним, «не сносила доброго платья».

Вот вроде за одним столом сидели они с Татьяной, а так далеко от друг дружки, будто по разные концы поселка. И шли годы, все дальше и дальше разводя супругов.

И каждый, наверное, из них был прав, но на свой манер. До 1947 года Степан топтал чужие земли. Изголодалась душа по родным местам. Часто виделись ему свой собственный угол, в нем – широкая печь, большой стол и как он пьет молоко прямо из кринки – через край. Бывало, долго разглядывал свои руки, будто прикидывал к ним топориче, рубанок, черенок литовки – все те предметы, с помощью которых от века ставилось мужицкое счастье.

Он верил, что скоро кончится война, и она кончилась. Верил, что кончится и его солдатская служба, и она закончилась в памятном 1947-м. Но сильнее всего он верил в свои руки – сильные, мозолистые, ко многому приспособленные. И войну-то он воспринимал как работу, где руки его были нужнее всего. И что толковать: на фронте, когда идет бой, каждому солдатику кажется, что он в самом центре этого боя и все пули, все снаряды противника летят только в его сторону. И некогда думать, нельзя на чем-либо сосредоточиться, и только руки делают то, что и должно делать воину.

Он помнит, как махина немецкого танка на его глазах стоптала, сжевала и пушку, и весь ее расчет, а он, прижатый к земле в каких-нибудь метрах десяти от того страшного места и не имея под рукой ничего, что бы могло остановить железную смерть, шарил и шарил вокруг себя руками. И надо же было такому случиться, что руки его вдруг нащупали скользкие горлышки бутылок с горючей смесью – им же и приготовленные, но о которых он в пылу боя сам напрочь позабыл. А вот руки – не забыли.

– Ну, погодите, гады... – пробормотал, прикидывая расстояние до ближнего танка.

И с каким же остервенением, вернее, с наслаждением запустил первую в ненавистную железу, и как осветилось его черное от гари и грязи лицо великой радостью, когда пламя охватило машину: она остановилась, из верхнего люка показалась фигура танкиста. И тут же с другой руки Степан дал по нему короткую очередь из автомата. Потом еще и еще. А уже откуда-то сбоку надвигалась другая машина: с нею повторилось то же, что и с первой. Потом третья, четвертая, пятая...

Будто сразу за всех бойцов – и павших, и живых – в одиночку вел он, Степан Белов, этот бой. Он ничего не видел, кроме надвигающихся танков врага, ничего не слышал, кроме гусеничного скрежета и лязга, кроме буханья орудий и того общего гула войны. И в то же время движения его сделались до предела рассчитанными, четкими, глаза мгновенно определяли расстояние до вражеских танков, а силы в ногах и руках было ровно столько, сколько необходимо для очередного броска.

Подбитые им же машины служили ему прикрытием для нападения на очередную. Он перебежал от одной, уже мертвой, к другой, заботясь лишь о том, чтобы какой-нибудь вражеский, оставшийся в живых, танкист не подстрелил его, – с подобным глупым концом для себя Степан сейчас никак не мог согласиться, потому что шел бой и армада танков врага не была остановлена. Это он видел каким-то особым зрением, каким видят общую картину сражения полководцы.

Измотанный телом и душой, почти оглохший, со слезящимися от дыма глазами буквально свалился в попавшуюся на пути траншею, где его подхватили чужие руки, сунули в рот горлышко фляги с водой, а чуть позже и со спиртом, привели в чувство и сообщили радостное, во что не верилось: враг разбит.

«Разбит... – машинально повторил он. – Разбит...»

– Дак разбит?! – неожиданно для себя и окружающих вскрикнул.

– Разбит-разбит, – успокоили его. – Отдохни или покури вот... Притомился небось – ишь, сколь железа наворотил. Мы из своего окопа видели, как ты их колпашил, восемь машин насчитали...

– Ерой... – это уже кто-то добавил со стороны.

Подбежал, запыхавшись, лейтенант:

– К генералу требуют! Можешь идти?..

Степан приподнялся, пошатываясь пошел следом за нарочным.

В полумраке блиндажа разглядел полноватого человека с генеральскими погонами, который быстро подошел и обнял Степана:

– Ну, молодчага, солдат. Видели мы, как грамотно орудовал. Можно сказать, только благодаря тебе мы и остановили фашиста. Танки, что ты подбил, заткнули дыру на левом фланге, и немцы вынуждены были их обходить. Тут-то наши орудия и стали расстреливать их почти в упор. Мало кто ушел. Я уже доложил наверх, и тебя требует Ставка...

Встал напротив, коротко спросил:

– Откуда родом?

– Из Сибири, – от волнения чуть выговорил Степан, чувствуя, как начинают подкашиваться ноги.

– Сибиряк, значит. Это хорошо... Благодарю за службу!

– Служу Советскому Союзу! – неожиданно для себя четко выкрикнул Белов.

– Вот и служи, – по-отечески потрепал за плечо генерал.

И тут же приказал кому-то стоящему поодаль:

– Найти интенданта, помыть, покормить, переодеть и через час... Нет, через полтора – ко мне.

К назначенному сроку Степан вновь стоял перед генералом, но уже в новеньком обмундировании, в хороших кирзовых сапогах, с орденами и медалями на груди.

– А ты, солдат, действительно молодчага, – говорил генерал, кивая на его грудь, где красовались орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

Пока ехали в легковушке до какого-то военного аэродрома, генерал молчал, и оттого Степан испытывал чувство неловкости. Хотя, наверное, лучше, что молчал, – о своем думает человек, а у него таких, как Белов, ой, как много. За ним – страна и они, солдаты.

Приглядевшись к покачивающейся впереди него фигуре генерала, Степан понял, что тот дремлет, а может, и спит. «Ну и пусть спит, – подумалось. – Устал, верно».

Война, артиллерийский полк и его, Белова, расчет... Ребята: Миша Шумилов, Наум Малахов, Володя Юрченко. Он даже не знает, остался ли кто-нибудь из них в живых. Слышал только, как захрустела под гусеницами раздавленная пушка. Видел только, как на месте крутанулся танк.

Только сейчас почувствовал Степан, как тоскливо заныло сердце и по спине пробежал холодок. Он мог быть там же, с ребятами, да как раз метнулся за снарядами.

Ему тоже хотелось бы заснуть, чтобы не думать и не помнить. И он попытался закрыть глаза и даже ощутил нечто вроде дремоты. Но мозг работал с прежней ясностью, возвращая к одному и тому же часу, минуте, мгновению, когда на расчет надвинулась громада немецкого танка.

Они с ребятами могли почти в упор расстрелять махину, но в ящике, что находился за спиной, не оказалось снарядов. И он метнулся к соседнему оружию, которое молчало уже минут пятнадцать и нельзя было понять: то ли некому стрелять, то ли повреждено само оружие. Но снаряды не могли кончиться, так как выстрелов было сделано гораздо меньше, чем снарядов в ящике. Пробежав метров десять-пятнадцать, Степан вынужден был прыгнуть в воронку от разорвавшегося снаряда и некоторое время переждать, пока танк не подойдет ближе и он в своей воронке окажется в зоне недосягаемости для его пулемета. А когда выглянул, танк уже наезжал на пушку.

«Но вить не могли ж они ждать, пока эта сволочь их раздавит», – мучился и мучился сомнениями, потому что видел только пушку, танк и черный дым, что поднимался к самому небу.

Не понимая, что делает, Белов рванулся было в сторону ненавистной железины, и та вдруг стала поворачиваться в его сторону. Ему даже показалось, что в смотровую щель танка он разглядел холодные белки глаз водителя. И тут Степан стал пятиться. Пятиться на четвереньках, с ужасом понимая, что вот-вот будет раздавлен. А танк все ближе и ближе...

Сжимающееся, исчисляемое секундами, время, суживающееся для возможного бегства пространство, опаляющий тело смрадный горячий дым и смертный ужас внутри его самого – всего этого для одного только человека было слишком много и должно было кончиться разом. И следом – вечная темень, как избавление. Как искупление. Как разрешение от душевных и телесных мук. И он желал этого. Жаждал этого. Просил этого!.. И – скользкие горлышки бутылок...

«Не-эт, умирать мне рано, – обозначилось в голове. – Тока теперь и воевать... Ну?.. Кто кого?..»

Дальше уже мало чего помнил, только бухающее внутри сердце, невероятную ненависть к врагу и азарт. Да-да, азарт, какой отчасти испытал на охоте. Он метался от железины к железине, припадал к земле, замирал и снова кидался туда, куда бросала его ненависть. Он не чувствовал своего тела. Не воспринимал грязи, в которую с маху падал. Ничего не помнил и мало что видел, кроме фашистских танков – один, другой, третий, пятый... Этот горел за Витьку Долгих. Следующий – за Петра Яковлева, еще один – за Мишку Распопина...

Внутреннее напряжение, в каком жил последние часы, видно, поослабло, и Степан задремал. И снились ему все те же горящие танки вермахта и будто бы сам он идет мимо них с красным флагом в руках, а за ним – его ребята... Миша, Наум, Володя... Идут по полю –

маршем, весело, а в конце поля – торжественно, в парадном кителе поджидает их генерал. И каждого треплет за плечо.

Он чувствовал это генеральское прикосновение и тут открыл глаза – над ним действительно склонился генерал.

– Ну и здоров же ты спать, солдат, – говорил с улыбкой. – Но ничего, немудрено и устать после таких подвигов. Вставай, идем к самолету.

В Москву прилетели к вечеру и сразу в Кремль. Как в бреду воспринимал Белов все последующее: высокие узорчатые палаты, доброе улыбающееся лицо Михаила Ивановича Калинина и «Золотая Звезда» Героя, которую прикололи к груди Степана.

И еще был отпуск.

В командировочном удостоверении в категорической форме было указано – во всем способствовать его передвижению по железной и другим дорогам. Стояла внушительная печать и подпись высокого чина. Потому до райцентра добрался без всяких осложнений, а уж до деревни Корбой, как водится, пешим ходом. В Корбое, в стареньком домишке, проживала мать, Фекла Семеновна Белова, и это было для него самое дорогое место в мире.

Степан не торопился, наслаждаясь видом дремучих лесов, открывающихся взору саянских вершин. Дорога местами мало чем отличалась от таежных троп, которыми хаживал поначалу с отцом Афанасием Ануфриевичем, затем самостоятельно, – с утопающими в болотниках тележными колеями, с попадающимися по обочинам грибами, с топорщущимися кустиками голубики. И он останавливался, брал ягоду, вдыхал ее аромат, отправлял в рот. Ягода утоляла жажду, напоминая детство, родителей, довоенную жизнь и в Корбое, и в Ануфриевских выселках, где он перед войной поселился у брата Данилы.

Время на дворе было предосеннее, но деревья еще стояли в зеленой листве, и лишь с углублением в присаянские широты кое-где начинала проглядываться желтизна и тянуло прохладой.

К деревне подходил уже в сумерках, наслаждаясь доносящимися до слуха собачьим лаем, редким взмыкиванием коров, блеянием овец.

Степан вдруг поймал себя на мысли, что здесь ничто не напоминает войну и вроде как нет ее вовсе. У первых домов остановился, прислушался. Чуть поодаль заливисто наигрывала гармонь. «Вечерка», – мелькнула в голове сладкая мысль. И захотелось туда, где скупилась корбойская молодежь. Сможет ли он когда-нибудь вернуться в такой же полумрак вечера, где соберутся его одноклассники и девчата, чтобы разойтись парами по улицам и переулкам родной деревни? И тоска, неизъяснимая тоска будто в горсть собрала его сердце, и мысленно Степан перенесся туда, где и сейчас шла война, где гибли молодые ребята, чьи могилы разноголосными кнопками той же гармони рассыпались по полям, лесам, по рекам и морям – всюду, где проходил и откуда не смог возвратиться русский солдат, чтобы, как и он, оказаться в двух шагах от родительского гнезда и не быть готовым даже к тому, чтобы не расплакаться и не закричать.

Степану действительно захотелось закричать – от всей полноты сердца, от пробегающих одна за другой тяжких дум, и он просто тихо заплакал, привалившись плечом к пряслам раскинувшегося на его пути огорода. Затем выпрямился, вздохнул полной грудью, и вдруг прямо в него, будто синичка в стеклину, ткнулась вылетевшая бог весть откуда дивчина. Ткнулась, только и успев выдохнуть: «Ой, люшеньки...» И задержалась, вглядываясь в лицо парня в военной форме.

Смотрел ей в лицо и он – жадно, призывно, глазами, полными печали, много видевшего в своей короткой жизни солдата.

И понял Степан, что встреча эта неспроста: девушка эта – его завтрашний день. С нею – его собственный угол в поселке Ануфриево. В ней – продолжение его фамилии. Что она давно его знает и ждет. И это к нему минуту назад летела навстречу.

Все мысли эти были в его глазах, и она без труда прочитала их. И согласилась с ними.

А назавтра девушка призналась, что она – Таня Малунова, ей шестнадцать годков и что он, Степан Белов, давно ей глянулся, да по младости ее не обращал на нее внимания, когда проживал в Корбое.

Сказала свое слово и мать:

– Дева ниче себе, работяща. Тока племя малуновское больно прижимистое.

– Може, и ниче, – рассудила спустя минуту. – Лишнюю копейку не уронит, а за вами, мужиками, глаз да глаз нужен. Вот и ладно будет.

В 1947-м посватался к Татьяне и был принят на правах зятя. К концу года съехали они в Ануфриево, поселившись пока на выселках.

Сразу же начал строиться. И не успел Степан приладить к дверному косяку только что срубленной избы крючок, как Татьяна принесла ему дочь Люсю, через год – сына Сашку. Еще через три года собрался топить только что срубленную баню, и в подвешенной к потолку зыбке закачалась дочка Любушка. Там и Вовка, Витька.

И возом хлыстов по ледяным дорогам лесосек покатались годы, куда уезжал с мужиками на целую неделю.

Еще зимой так-сяк, летом вовсе мало бывал в семье и не заметил, что детки его подросли, а Таня – уже не та Таня, которую в 47-м увез из Корбоа, а крикливая, почти что чужая ему женщина, которая вечно жалуется на нехватку денег и во всякое время чем-то недовольна. Свершись в ней такая перемена в один день – может быть, и заметил бы, что-то, может быть, и предпринял бы, а так – потихоньку да помаленьку и осталась та прежняя Таня в невозвратной памяти первых счастливых послевоенных лет. И жил бы, все как есть принимая, если бы однажды в погребке, в старой глиняной кринке, не обнаружил перевязанный пояском от платья объемистый сверток – от того самого платья, в котором была Таня в утро их окончательного знакомства, когда приезжал в Корбой в отпуск.

– Ой, люшеньки!.. – охнул где-то сверху будто и не Татьянин голос.

А руки уже развязали пояс, развернули пожелтевшую от времени газетную бумагу...

То были деньги. Много денег. Сколько и за год не заработать.

Не помнил, как швырнул их в неразличимые черты бабьего лица, что маячили в проеме крышки погреба. Как выскочил наружу. Как затопал ногами. Как закричал дурным голосом. Как погнался за бабой и как устыдился соседских глаз, будь они неладны... Как сел на зава-linkу, дрожащими руками свернул папиросу и как решил про себя, мол, все! Точка! Прощай его нормальная семейная жизнь.

С ним всегда так было: в горестных невеселых думах будто въяве вставал перед ним образ отца, Афанасия Ануфриевича, в его последний предсмертный час. И как то ли приказывал, то ли просил сыновей – Данилу и Степана – вернуться в места, где он родился и где свершилось убийство.

– Могилки тяти и мамы, братиков и сестренки вопиют, – тяжело, с частыми передышками выдавливал из себя еще не старый годами Афанасий. – Негоже их бросать. А я вот – бросил... Не было никакой мочи там быть. Сколь раз приходил, сколь раз клялся себе – остаться, но не мог... До самого последнего часа, знать, помнить... Ох-хо-хо-хо-о... Не приведи осподи пережить...

– Ты бы, Афанасий, не тревожил ребят, – попросила бывшая тут же Фекла. – Че им – за всех отвечать? Жить им надобно, жить своей жизнью.

– Замолчи, жана, – твердо проговорил Афанасий. – То наказ тяти мово, Ануфрия, и ежели судьба, дак пускай будет то, чему быть должно.

– Как знашь, отец, – поджала губы Фекла. – Тока я своим бабьим умишком разумею – не нада бы тревожить...

– Расскажи, отец, ослобони душу, – просил, не обращая внимания на мать, старший, Данила. – Будем знать и, може, хоть отродье тех шатунов сыщем. Поквитамся...

– Искать никого не нада, – предостерегал старый Афоня. – Не христианско это дело... А вот все болит душа, и где найдешь отродье-то?.. По вещам разве... У тяти нож был приметный, буланый, с насечкой на рукояти из корня лиственничного... Вроде как птица в полете... У мамы сдернули колечко серебряное – тож приметное, старинное, с буковками. Помню, сказывал тятя, писано было: «Аз есмь...» Даже посуду унесли, варначье племя, ни дна им ни покрышки...

– А было ль золото? – допытывался Данила. – Была ль жила и где она?..

– Да угомонитесь вы! – беспокоилась Фекла, имея на уме свою мысль – отвести сыновей от нехорошего дела. – Было б золотишко, дак и мы по-иному жили б...

Умиравший Афанасий на этот раз только глазами повел в ее сторону. Поняв внутреннее состояние мужа, Фекла убралась в куть.

– Ой, не знаю, сынки, не зна-аю... Тятю вить не сразу убили, изгалялись над им. Я прополз к нему в анбар, где он был заперт. Мал был я, под полом прополз – тятя бы не смог, да и слабый был он, калеченный. Ног у него перебили – боялись, верно, чтоб не ушел...

– Как убивали-то? – сотрясаясь, как в лихорадке, пытал Данила.

– Ой, сынки, я-то не видел, в печи сидел, не помня себя. Бичиком убивали. Вроде плетки бичик-то, тока подлиннее, хитро сплетенный из сыромятных ремешков. На конце, сказывал тятя, вплетенная же свинчатка, вроде поболее раза в два, чем картечина. Один из их быдто на цыгана смахивал, он-то и стегал. Кость лопалась от удара. Он-то наперво маму и ухандошал, потом ребятню. Старшего, Гаврилу, осьмнадцати годков, убил, када Гавря попробовал за маму заступиться. Прямо в височную кость ударил – мастер был, видно, энтот цыганюга. Тятю оставили, чтоб видел, тайну открыл. Золотишко-то припрятанное он им отдал сразу – надеялся, видно, что отстанут, семью не тронут. Но тем нада было знать про жилу, и он им поведал, да обманул их: не то место указал. Об энтим он мне в анбаре сказывал. «Шишь им на постном масле, – сказывал. – Пускай теперя поищут...»

– Боле ниче не сказывал? – будто торопил Данила, пугаясь, что отец кончится раньше, чем выговорится.

– Меня он отослал, наказав, как выбираться из выселок, куды идти. «В тебе, – сказывал, – наш род беловский. Войдешь в года, женишься, деток своих наделаешь, но помни о нашей гибели мучеников. Еще наказал идти к сродственнице по маме Пелагее Ильинишне. Сестра ее, Агафья, жила в деревне. К ей я и подался. Принят был как родный сын. И будто Господь меня вел: и ведмедя встренил, и другага лютага зверя повидел, но добрался. А вошед в года, перебрался в Корбой, чтоб ближе к выселкам, значица. Много раз хаживал в родные места и кажный раз чуял – не примают меня оне. Будто остерегают.

– А дед ниче не сказывал об убийцах? Не знал он их?

– Однова быдто бы знал – Фролка, сказывал. Фролка-варнак. Еще с ими два сына того, другого, были... Тот, другой, вроде как Митрофанка – Фрол его так быдто бы называл...

– Сучье племя, – скрипел зубами Данила. – Добраться бы...

– Ну а могилки где?

– Могилки-то?.. Ох-хо-хо-хо-хо-о...

Афанасий зашелся кашлем, долго молчал, потом еле слышно закончил:

– Они вить, гаденыши, мертвых в баню стаскали и подожгли баню-то. Следы замечали, яко звери матерые... Я на выселки первый раз пришел, када мне стукнуло осьмнадцать годков. И мой антирес был тот же – найти хоть следы родных мне людей. Стал разгребать пепелище, где стояла банька, и нашел черепа, кости, и докумекал – косточки тяти, мамы, троих братьев и двух сестренек. По счету черепов сходилось, что это они. Собрал я останки в холщовую тряпицу, вырыл за огородами общую могилку и схоронил. И крест поставил.

И молитву сотворил. И клятву страшную себе дал, да не выполнил. Та страшная клятва и тянет меня раньше времени в могилу. Вы и меня тамоко схороните, подле единокровных моих сородичей.

– Тятя, назови клятву-то, назови... – пал перед отцом на коленки Данила, но Афанасий будто бы уже больше ничего не сказал.

Будто припорошенное снегом, заросшее седой щетиной лицо Афанасия Ануфриевича, выражавшее гримасу последнего усилия что-то сказать, мало-помалу размягчилось, вытянулось, обретя, к удивлению стоящих рядом сынов, выражение какой-то беспомощности, даже детскости, будто Афанасий вернулся в те незапамятные времена, когда ему было и всего-то семь годков, на коих и прервалось его детство на Ануфриевских выселках.

Дальше были раннее повзросление, постоянное истязание души жадной отмщения, завершившиеся крахом надежд и ранней смертью: на белом свете Афанасий Ануфриевич Белов прожил чуть более сорока годов.

...Под ухом кукарекнул петух. Степан поднял голову, скользнул взглядом по сидящей на заплоте красноперой птице, глубоко вздохнул и направился в сторону поселкового магазина, купил поллитра водки. Вышел на невысокое крылечко, подумал и подался к фронтонному дружку своему Леньке Мурашову, с которым разошлись их пути-дороги как раз после того боя, во время которого Леньке раздробило коленку, с тех пор нога и не гнется. Тот оказался дома. К бутылке водки добавилась бутылка самогону, и домой Степан возвратился в сумерках, бухнувшись на крытый дерматином диван с высокой спинкой и круглыми валиками боковых подушек.

С того самого случая он стал спать отдельно от Татьяны, пропадая порой неделями в своей тасжке, где у него была срублена ладная избушка, имелись все приспособления для заготовки и обработки кедровой шишки, там же он ставил капканы.

* * *

– Отец! Оте-ец! – бегала по двору сухопарая Татьяна. – Ой, люшеньки... Да где ты, леший, запропастился, уразуми дочь-то, идол ты окаянный...

– Ну че тебе? – спускаясь с сеновала, грубо спрашивал Степан. – Че распустила хвост дура-баба?

– Ой, люшеньки, ой, беда, Любка-то наша уж завтра уезжат на фершала учиться...

– А ты и не знала об этом? Она давно о том талдычит, да и ты вроде не глухая.

– Не фельдшером, а врачом... Тебя же, мама, и лечить буду, – спокойно пояснила вышедшая из дома Люба, которая прекрасно слышала причитания матери.

– Жила без ваших припарок и помру без их, – обернулась к ней Татьяна. – Уедешь, а кто нам-то с отцом глаза закроет? И сколь деньжищ-то надобно на твою учебу?..

– Смолкни, – так же грубо одернул жену Степан. – Пускай едет – у нее своя дорога, а твоя уж сворачивает на погост. А деньги – заработаю.

– Заработать, как же, – продолжала причитать Татьяна. – Вон у Володьки все обутки порвались, у Витеньки штаны последние все в заплатках, вить дочь-то нада будет одеть-обуть, а на что?..

– Папа, – заплакала вдруг Люба, – ну что здесь плохого, я ведь как лучше хочу-у-у...

– Поезжай, дочка. Пока не сезон, я в кузне, потом в тайгу. Деньжонок хватит. Там Володька с Витькой поднимутся на свои ноги, и будете друг дружке опорой.

О младшем Витьке пока говорить не приходилось, а вот о Володьке сказ особый.

Как упомянуто было выше, имелся еще один Белов – Данила. Он в Ануфриево переселился в тридцатые годы, но проживал не со всеми в Ануфриеве, а собственным подворьем,

в подправленных постройках деда, кои, впрочем, ему были без надобности, потому что из живности Данила держал только известных во всей губернии собак да мерина Гнедого.

Поначалу, как и брат Степан, гнул спину в лесосеке, а когда после войны был образован коопзверопромхоз, перешел туда штатным охотником.

Нельзя сказать, чтобы братья не ладили друг с дружкой, но особенно и не общались: Данила был закрыт для брата и для окружающих. Позже он и вовсе отъединился от поселкового люда, проводя время в тайге, где находил для себя занятие во всякое время года. Нелюбимость его, видно, и породила разные слухи о том, что Данилой погублена не одна живая душа. Связывали это с теми рассказами о золотоносной жиле, местоположение которой якобы было ведомо старшему Белову и к которой не подпускал ни единого человека. Что будто бы «подкараулит, ухандокает и – под мшину», – передавали друг дружке бабы, устроившись где-нибудь на лавочке под черемухой теплыми летними вечерами.

В тайге же известно, что иголку в стоге сена искать. А люди время от времени действительно пропадали, о чем регулярно доносило «сарафанное» радио, мол, ушел из села Андрюшино Иван Пахомов и сгинул бесследно. Или поехал за сеном александровский мужик Василий Распопин и пропал. Вернулась, мол, в село лошадь с телегой, а хозяина и нет. Главное же было в том, что оба пропавшие были, как и Белов, штатными охотниками, значит, пересекались интересом с Ануфриевым лешим. Закрепилось за Данилой и прозвище: леший.

Может, так оно и было, во всяком случае с Беловым шутки были плохи, о чем знал всякий поселковый мужик. Тяжелый взгляд как бы снизу вверх, хотя Данила был выше среднего роста, немногословность и кряжистость фигуры, но особенно – кривая усмешка на пухлых губах производили впечатление. Встанет напротив и глянет исподлобья. И усмехнется, будто скажет: «Я вот ты сейчас по стене-то размажу, тля ты этакая...» В такие минуты мурашки бежали по коже даже у вовсе не робких мужиков. «Ну его... – махнет рукой какой-нибудь поселковый задира. – Нужда припала связываться...»

Дома Данила бывал редко, баню топил свою, на выселках, но иной раз ходил и к Степану, где квасу подносил ему племянш Вовка, которого Данила не то чтобы любил, но выделял среди других мальцов: часто гладил по голове и обещал взять на охоту. И, когда племяннику исполнилось лет двенадцать, пришел однажды к брату и сказал:

– Твой востроглазый будет мне помощником, возьму его нонече в тайгу – нада приучать к делу.

И увел. С тех пор пять сезонов подряд Вовка с начала учебного года по месяцу не появлялся в школе. Учителя поначалу роптали, но кто их в такой глухомани станет слушать. Молчали и родители – в доме всю зиму велось мясо сохатины. Велась и пушнина, которую можно было продать в райцентре.

Одно было худо, чего побаивались в доме Степана Белова: за Данилой, как поговаривали поселковые, водился грешок – любил баб, и они к нему тянулись. Были таковские у него во многих деревнях, потому и дома появлялся редко.

«Не сбил бы с толку парня», – подумает иной раз Степан. Как подумает, так и отдумает.

Татьяна оказалась по-бабьи прозорливее. Та стала примечать, что Вовка как-то поинему пялит глаза на забегавшую за чем-нибудь вдовую соседку Наташку, что была моложе ее лет на восемь. И та к парню все с шуточками, да прибауточками.

И докумекала: испортил Данила ей сына, в чем убедилась, застав Наташку с Вовкой на сеновале. Произошло же это так.

С вечера, подоив корову, возвратилась в дом. Володька, нагрев чугунный утюг на плите, разглаживал брюки. И не нашла бы мать в его сборах ничего предосудительного, если бы не суетился, не старался услужить матери. Дров возле печки вроде достаточно, а он побежал, притащил еще. Воды в кадке хватило бы на дня два, а он, не спросись, побежал до колодца.

Такого не бывало, и наблюдательная Татьяна проворчала:

– Куды лыжи-то наострил? Чей-то суетишься больно...

– Тебе не угодить, – был ответ.

И за дверь.

Уклавшись на кровати, долго ворочалась, прислушиваясь: не идет ли?

Звуки в поселке, что открытая книга, которую всякий сельский житель читает всю жизнь и многие страницы ее знает наизусть. Поэтому, когда гавкнул и тут же замолчал пес Шарик, поняла, что явился Володька, да не один, на одного его собака бы не поднялась. Потом вроде и смех женский послышался, но опять же могло и показаться.

Подождала еще минут тридцать, не зажигая света, накинула на плечи полушалок и вышла во двор.

Ноги задрожали под ней: сын ее, молокосос Вовка, был на сеновале с женщиной, откуда доносились негромкий говор и возня. И поняла Татьяна – с Наташкой он...

«Ой, люшеньки...» – только и смогла выдавить из себя.

Степану рассказать забоялась: поймет ли? А вот зашибить сосунка – может, в этом она не сомневалась. Впрочем, что было у Татьяны на уме, о чем передумала, и сама она не могла бы сказать. Одно в ней было определено: со Степаном они смолоду идут разными дорогами, а причина тому – беловское, родовое, чего не дано изменить никому, разве что Господу Богу. Вот и на сына Вовку по-родительски вместе повлиять не могут.

«А как было бы ладно вместе-то...» – сокрушалась Татьяна.

Сынок же не переставал удивлять. Тут явился и говорит, мол, ставь, мать, брагу на самогонку.

– Зачем? – не поняла.

– Дрова готовить надо? Сено вывозить?... Тесу на навес тебе за здорово живешь привезут?

Спорить не стала: вскипятила воды, поставила лагун браги. Когда выходилась, выгнала самогонки.

Через какое-то время сын наказал:

– Ты завтра что-нибудь поесть приготовь, да здорово не суетись – я дрова с мужиками подвезу.

Привезли, свалили. Под бревнами оказалось куба с два добротных тесин.

Подроссел сенокос. Степан хлестался на леспромхозовской работе, где так же отпущен план на сенозаготовку, оставались Татьяна и дети. Володька решил по-своему, наказав матери заниматься домашними делами. Сам уходил из дома с раннего утра, взяв с собой еды и самогону, и в положенное время в конце огорода стоял объемистый стог на восток пятнадцать.

Дрова пилили у него также любители зашибить, а колоть подрядил соседского дурачка Кешу.

Помашет топором дурачок часа два-три, Володька его в дом зовет, за стол садит, щей наливает да стопку к щам.

Сам – напротив, подбадривает да подхваливает.

Кеша и лоб рад расшибить. Складывает в поленницы уже сам хозяин.

Наблюдавшая за этими из раза в раз повторяющимися «концертами» Татьяна как-то не выдержала, вышла из дома, подбоченилась и эдак нараспев:

– Ду-рак ты, ду-урак, он же тебя ик-спла-а-ти-ру-ит...

Кеша ничего не понял, а Володька заржал, как кобель, обнял мать за плечи и подтолкнул к дому.

– Ты, мать, не мешай нам делом заниматься...

– Ну вас... – махнула рукой Татьяна, смекнув, что с новыми повадками сына хоть часть забот свалилась с плеч.

«Не-эт, неспроста это, – думала, оставшись наедине со своими мыслями. – Данилкино, стервеца, воспитание...»

Данила действительно имел большое влияние на племянника. Таскал за собой по тайге, не давая отдохнуть, и надо было иметь лошадиное здоровье, чтобы выдержать те нагрузки. Объяснять ничего не объяснял, но частенько говаривал, мол, приглядывайся, запоминай.

Первый сезон для Вовки был как бы тренировочным, на выживание. По выходе из тайги наделил Данила парня мясом сохатого, дал несколько шкурок соболя, а по весне ода-рил щенком от своей лучшей лайки.

В следующем сезоне Вовка уже постигал непростое ремесло промысловика: вдвоем подняли медведя, причем старший Белов только страховал племянника. Первый год пошла по следу соболя его собственная собака Белка.

Вечером, расположившись в жарко натопленном зимовье, Данила иной раз позволял себе выговориться, и нельзя было сказать, что побуждало его к этому. Такие минуты Вовка любил, каким-то десятым чувством угадывая, когда можно вставить словечко. Чаще всего такое случалось в субботу, после бани – была у Данилы рядом с зимовьем настоящая таежная, срубленная из осины, баня.

Плеснув в жестяную кружку с крепким чаем немного спирту и посматривая в сторону племянника особым, свойственным только ему, взглядом с блуждающей на пухлых губах усмешкой, Данила говорил долго, как бы подсмеиваясь то ли над собой, то ли над Вовкой, а может, еще над кем-нибудь, и до жути верилось в тайные таежные разборки со смертным исходом, якобы свершенные этим сейчас расслабленным баней, еще сильным, но по сути пожилым человеком.

– Перед войной, паря, я был, вот как ты, молоденьким парнишкой. Игрывал на гар-мони, щупал девок, и все они казались мне сладкими да мягкими. Потом фронт – будто в реку бросили: вынырнешь, похватишь воздуху, а тебя опять на самое дно. Но и там я нашел себе русалочку-санитарочку. Красивая была, ласковая и любила же меня – дай бог каждому. Бывало, идет бой, а она, нет чтобы себя на всех поделить, ведь пораненному человеку каж-дая минута может стоить жизни, – невдалеке от меня льнет к земле. На всякий случай, а вдруг и меня зацепит пуля – ну, чтоб быть под рукой, ежели что. А я-то, дурак, думал, мол, много вас на мой век будет. Да что там – смеялся, хвалился перед друзьями, выпячивался... И не сберег...

– Убили?

– Родила она чуть ли не на передовой, до последнего скрывала живот. А когда списали, я даже не простился, не наказал, где меня искать. Так и ушла ни с чем. Потом докатились слухи, что санитарный поезд, где наладилась рожать, фашисты разбомбили.

– Может, и не разбомбили? – усомнился Вовка.

– Может. И у меня была такая думка. Сразу после войны поехал я в те края, где пред-полагалось базирование санитарного поезда, выспрашивал местных – никто ничего опреде-ленного не сказал. Был и в местном энкавэдэ, там и вопче такую несуразицу понесли, будто я враг какой-нибудь. Вышел мокрый от пота из того энкавэдэ и на вокзалишко, где сел на поезд и – в Сибирь-матушку. В опчем, сбег я.

– Чего ж так? – опять не удержался от вопроса племянник.

– Все тебе, паря, расскажи, что да как, – слушай молча и не перебивай...

Данила задумался, отрешенно уперев глаза куда-то в угол зимовья, некоторое время спустя сказал с притворным равнодушием:

– Ладно, Володька, тебе – бесплатный концерт, а мне отдыхать пора. Следующий раз доскажу.

Этого «следующего раза» приходилось иной раз ждать недели две, пока дядька не созревал для нового рассказа. А на этот раз Вовка ждал с особым нетерпением. Он чувствовал: вот-вот приоткроется некая завеса над тайной, от знания которой, может быть, иным смыслом осветится и его жизнь.

К очередной субботе оба они – Данила и племянник – были измотаны до крайности. К тому же временами пробрасывал снег и те немногие следы, что вчера еще встречались то там, то сям, скрыл ровный, сверкающий на солнце покров. Охотники уже давно не ходили друг за другом, добывая зверя наособицу. Данила ходил по левую руку от зимовья, Вовка – по правую.

Во второй половине дня Вовка наконец набрел на четкие следы соболя и быстро пошел по ним, пустив вперед собаку. И вскоре услышал ее залиvistый лай – значит, зверек недалеко. Побуждаемый внутренней уверенностью, что сегодня удача будет ему сопутствовать, Вовка гнал себя что есть сил, но соболя уходил все дальше и дальше, а за ним и Белка. Вовка знал, что впереди каменистые россыпи и там уже зверька не найти.

Так оно и случилось. Надо было возвращаться назад, так как через час-полтора начнет смеркаться. И он повернул, отозвав собаку, которая бестолково бегала из стороны в сторону, пытаясь взять след.

Шел медленно, не торопясь, с чувством пустоты в душе и вяло пробегающими в голове мыслями.

Когда до зимовья оставалось километра полтора, вдруг остановился, вслушиваясь в необычный лай Белки, и понял, что та набрела на берлогу.

Пойти на берлогу? Не пойти?.. Брать такого матерого зверя в одиночку ему не приходилось. Однако соблазн был слишком велик, ведь, если повезет завалить медведя, насколько же высоко поднимется его авторитет перед дядькой...

«Пойду», – решил и, слегка нагнувшись вперед, зашагал в сторону доносившегося лая собаки.

Это была берлога, из отверстия которой исходил легкий парок – зверь крепко спал.

Вырубив крепкую жердину, заострил топором конец и воткнул поглубже в сугроб поперек отверстия.

Охотничий азарт охватил и Белку, которая со всей возможной яростью разгребала лапами снег, не устывая при этом залиvисто лаять.

Вовка скинул лыжи и начал утаптывать снег с тем, чтобы образовалась площадка, где он будет стоять и откуда стрелять. Затем расстегнул кнопки патронташа, зарядил двустволку жеканами, два патрона взял в зубы, взвел курки и встал на одно колено.

Зверь уже проснулся, и время от времени над отверстием показывалась его голова. Покажется и тут же спрячется. Покажется и тут же спрячется.

Стрелять наугад было бессмысленно, и Вовка выжидал, когда медведь высунет наружу всю голову и начнет озираться, пытаясь понять, кто же помешал его зимнему лежбищу.

Вовка почувствовал, как спина его мгновенно стала мокрой от холодного пота, а согнутая в колене нога начала мелко дрожать.

– Ну! Ну-у... – неизвестно кого подбадривал он и неожиданно для себя, когда в очередной раз показалась голова зверя, выстрелил сразу из обоих стволов.

Нервное и физическое напряжение было, видимо, настолько сильным, что Вовка повалился на бок, но тут же вскочил, переломил двустволку, почти судорожно запихивая патроны в стволы.

Из-за дымного пороха, каким были заряжены патроны с жеканами, он ничего не видел и только бессмысленно крутился на месте, не зная и не понимая, что ему ожидать дальше.

Дым рассеялся, и Вовка, еще не совсем понимая, что произошло, смотрел и смотрел на перевалившееся из берлоги в его сторону безжизненное тело зверя.

«Значит, убил...» – наконец пронеслось в голове радостное, и он медленно осел на снег. Как потом оказалось, жекан перебил медведю шейные позвонки.

Теперь надо было снять шкуру и топтать к зимовью – с ними всегда был старый конь по кличке Гнедой, на котором завозили в тайгу провизию, снаряжение и которого использовали, если надо было подвезти к зимовью мясо убитого сохатого ли, изюбря ли, редко – медведя.

Данилы в зимовье еще не было, чего Вовка втайне желал, так как очень уж хотелось удивить дядьку свершившимся фактом его сегодняшней удачи. Осозналось еще и то, что теперь даже Данила не сможет отрицать в нем состоявшегося охотника, который может вести промысел самостоятельно.

Уже в глубокой темноте добирался до зимовья, целиком положившись на Белку и Гнедого, которые лучше его знали дорогу к жилью.

– А я, паря, смотрю, Гнедого нет и свежий след от саней, ну, думаю, вечерять будем свежениной. Растопил печку, поставил котел с водой... – как показалось Вовке, бесцветным голосом сказал Данила, нарисовавшись в проеме небольшой двери избушки.

«Вот черт... – впервые за их совместное пребывание на промысле с раздражением подумал Вовка. – Даже не похвалил...»

Следом за Данилой вышел дед по кличке Воробей – заросший грязной клочковатой бородашкой, в каких-то лохмотьях на теле, на ногах – перетянутые под коленками сыромятным ремешком ичиги, сверху которых выступали края также грязных портянок.

Этот осветился радостной улыбкой – попал, значит, на свеженину. Засуетился, заворковал тонким голоском:

– Ах, Володька, ах, молодчага... От... и – до...

Это вот «от... и – до» Воробей произносил в особых случаях, когда хотел высказать собственное восхищение по какому-либо поводу. Впрочем, и не только по поводу, бывало, что и за просто так. Короткое «от» он произносил как бы на взлете вдоха. Задерживал на некоторое время дыхание и на выдох произносил оставшиеся «и – до», после чего, кажется, уже нечего было сказать.

Лесть Воробья делала свое дело, молодое краснощекое лицо парня еще больше раскраснелось, выражая откровенное удовольствие, – хоть этот оценил его охотничий трофей.

Воробей уже не занимался промыслом, но тайгу знал, как никто другой, шатаясь весь сезон от одного зимовья к другому. И всюду его ожидал один и тот же прием: Воробья не гнали, но особенно и не привечали – все живая душа.

С годами одинокий бывший охотник превратился в неряшливого бродягу, которому никак не сиделось в поселке, потому что жизнь свою он провел здесь, в тайге, и другой для себя не желал, так как и не знал другой, с малолетства сжившийся с таежными глухотами.

Воробью в то время было немногим за шестьдесят, самый, как говаривали в старину, середовой возраст. Судя по сноровке, не обидел его Бог и здоровьем.

Брезгливый Данила для таких непрощенных гостей держал даже особую кружку, которая стояла на своем месте за трубой печки.

Не спрашивая хозяев, Воробей хлопотал около туши медведя, отрезая куски. Данила подсунул ему старый гнутый котелок, стоявший там же, где и кружка.

Когда варево было готово, дед удивил Вовку количеством съеденного мяса, которое почти нежеванным падало в Воробьиное нутро.

Попутно расспрашивали о том, что за их отсутствие произошло в Ануфриеве и как идет охота у соседних промысловиков, где дед успел побывать.

Наблюдая за гостем, Вовка все более убеждался точности прозвища – Воробей: старик не сидел на месте, крутил головой, всплескивал руками, приседал, подскакивал, выражая тем самым крайнюю степень удивления, радости, полноты чувств.

Заговорив об одном, он тут же перескакивал на другое, никак не связанное с предыдущим, будто перескакивал с ветки на ветку. Чирик-чирик...

Даниле:

– Ты ить в прошлом годе боле всех набил собольков-та? Вот, слышь, гряд, мол, охота – не работа. А я-от смолоду – в охоту впрягси. Не могу дома сидеть – тянет шатуна в деревню поживиться чем ни попадя...

Вовке:

– А вправду, че ты в одиночку завалил ведмедя? Без охоты человечешка – дрянь. Но и с охотой – в неволе.

Даниле:

– Када с тайги-та думать выходить?

Вовке:

– А не устранился в одиночку-та?..

– Уймись ты, старая кочерга, – не выдержал, наконец, хозяин зимовья. – Дай чаю спойно попить... Лучше бы рассказал, как в соседних тайгах дела идут.

– Ну, че... – начинал присмиривший Воробей. – У Лариошки сам знашь как. Энтот свово не упустит, а кто до денег охоч, то не спит и ночь. У энтота все идет в дело: и соболек, и белка, и сохач. Пузо к позвоночнику присохло, а все бегат и бегат. Бегат и бегат – сохатинки пожалел старику, пустым чаем потчевал... Моя Раиса, бывало, никого без угощения не отпустит. И я, када соболевал, всяка забредша человека привечал.

– Тебя пустым чаем успокоишь...

– Ну, отчего ж, ложку ведмежьяга жиру положил да сальца отрезал – будь оно неладно...

– Че так?

– Да тонюсенький кусочек сальца-та отрезал, как украл...

– А у Ивана Матюхина что?

– Энтот и чаю не налил – некада, грит, соболевать нада. И на двери мне указал, хорошо хоть тарелку щец напослед налил...

– То-то ты, старый, у нас с племяшом, почитай, половину матерого слопал.

– Так уж и половину – скажешь тож. Стягну не осилил...

– А че, мог бы и целое стягну? – продолжал допытывать с серьезным видом Данила.

– А дай-ка испробую, може, и осилю. А где сила, тамако ведмедю – могила. От... и – до...

– Нет уж, знаю твою силу, не первый раз. Вон дошка, брось возле печки и спи. С собой возьмешь ведмежатины.

Воробей заохал, пожаловался на ломоту в ногах, устроился на дошке и тут же захрапел. Поутру, умяв котелок медвежатины, встал на лыжи и был таков.

– Ты, племяш, не заметил, каки знатные лыжи у Воробья?.. У меня таких нет, хоть и всю жись в тайге. Легкие, крепкие, ходкие – мастер тоф ему подарил. Воробей вить не всегда шакалил по тайгам: в войну да и после нее лучше Воробья охотника не было во всей Сибири. Три ордена Трудового Красного Знамени имет. Так вот: как-то возвратился с промысла, а бабы его Райки и след простыл. Запил Воробей по-черному, с тех пор и мается. Вот тебе и судьба-злодейка... Да еще че скажу: участок этот мне достался от него, от Воробья. Участок – лучший в округе, я здесь только избушки переделал, а так все еще с Воробьиных времен: и плашки, и сайбы, и мельница в кедровнике. Потому и по бумагам прозывается Воробьиным. Запасливый в прошлом был хозяин Иван Евсеич – так его зовут на самом деле. Потому, када приходит, ниче не жалею для него – пускай себе потешится, хоть всего ведмедя съест. Я тебе о нем как-нибудь пообстоятельней расскажу.

Сказал об этом Данила как бы между прочим, когда они уже сидели за столом после бани, а в кружке плескался разбавленный спиртом чай.

– После той поездки я, паря, знашь, озлобился, – перешел на свое. – На кого? – сейчас бы и не сказал. На себя, верно, на людей, на свою неустроенную жись. Вот отец твой, все у него рядом да ладком. Фронт, ордена, почет. Женился, вас наделал, трудится, в почете у начальства, людям угоден. А я?..

На этот раз Данила говорил жестко, с придыхом, срываясь на хрип. Кулак его то и дело поднимался над грубо сколоченным столом и резко опускался, отчего подпрыгивала кружка, на душе становилось тревожно и неудобно.

Большая сила была в этом человеке, большая жажда к жизни, но не израсходованная, не воплотившаяся, не востребованная, что особенно чувствовалось в такие минуты и что прорывалось во всем: в неспешных поворотах сильного тела, в звучном голосе, тяжелом взгляде. Но эти минуты казались Вовке лучшими в его, пока еще недолгой, жизни, и жизнь собственная будущая мерещилась ему полной опасностей, где надо быть начеку, иметь силу и деньги, где выживает и становится над всеми другими людьми только тот, кто ломится в ее запертую для хлюпиков дверь и отворяет их в те радужные пространства, где навалено всего, чего пожелает душа.

– На фронте я, паря, через многие земли прошел и думал, что много видел и много знаю. Но это – чушь. Приказали: «Иди!» И ты прешь по грязище с одним только желанием – присесть, отдохнуть, обогреться. Приказали: «Окапывайся!» И роешь, как крот, землю. Приказали: «В атаку!» И света белого не видишь, бежишь, как чумной, сквозь железо, свист, грохот. А чуть передышка и – спать. Ничего не надо: ни жратвы, ни баб. Пришел с войны и в тайге только очухался. И тут задумался: где я был? Че видел? Че знаю? Ни-че-го! Ничего не видел, ничего не знаю...

Данила глотнул чаю, замолчал, глядя, по своему обыкновению, куда-то в угол зимовья. Потишевшим голосом продолжил:

– Выйду из тайги, гляжу: фронтовички нацепляют на грудь медалек, нажрутса самогонки и пихают друг дружку, а назавтра пресмыкаются перед бригадиром – вояки ср... Им ли пресмыкаться – через огонь прошли! Врагу в лицо смотрели без робости, какой пострашнее любого леспромхозовского начальничка. Стоит какой-нибудь бывший фронтовичок, голову в плечи втянул, глаза вперил в землю, голос дрожит, оправдывается, а бригадиришка над ним измывается... Да ни в чем же не виноват мужик. Ну, выпил, вспомнил кровь, гибель товарищей, грязь, вшу окопную, слякоть дорожную, холод собачий. И как не выпить? Не за себя выпить – за оставшихся там навечно. Кто не возвратился до хаты, не обнял мать, жену, деток. Не женился, не сидел за столом с родней, с одногодками. Потому и бросил я леспромхозовскую работенку. Люблю, чтобы вольготно душе было, чтобы зверь и человек тебя боялись. Чтобы шел по улице и тобой детишек пугали... Не люблю я род человеческий – паскудный он, подлый. И я сам такой же. Потому лучше отдельно от всех. Одному некому паскудить, некому гадить, некому докладывать, куда пошел и зачем. Пошел и пошел – ответ держишь тока перед самим собой.

– И все... гадят?

– Есть, канешна, исключения, – спохватился Данила, поняв, о ком подумал племянник. – Твой отец, к примеру. Ему бы в попы или по крайности в учителя. Я уж на выселках проживал, как явился ко мне Степка. Вместе стали жить, а он все мне талдычит, мол, че ты, Данила, к людям не идешь: построил бы дом, женился бы и жил, как все. Я сдуру толком не мог понять, че он хочет, иной раз накричу на него. А он все о своем. Тут и война, меня взяли, почитай, в первые дни. Его – позже. Так и разошлись наши с ним пути-дороги. Он – в семье, вас вот завел. И – правильно, должен же кто-то род человеческий продолжать. И пусть себе живет. Тока разные мы, хоть и братья родные. Но человек он хороший и с головой.

«Разные – это точно, – соглашался про себя Вовка. – Вот только хорошо это или плохо?»

Данила сказывал дальше, Вовка слушал, понимая, что дядька чегой-то недоговаривает. Ведь бывает, идет человек и вдруг остановится. И начнет хлопать себя по карманам. Потом выворачивать, осматривая каждый шов. Потом крутанется и пойдет в обратную сторону искать потерянное и не находит. Потом плюнет и снова той же дорогой. И всю последующую жизнь ему чего-то не хватает. И мучается. Куролесит. Кружит вокруг себя, будто кошка, к хвосту которой привязали бумажку.

Но в старшем Белове его не могли не восхищать независимый нрав, крутой характер и что-то еще такое, чего Вовка не в состоянии был понять, а тем более объяснить. И мало-помалу в нем пробился росток желания во всем походить на Данилу. Росток креп, поднимался все выше и выше. Походка стала увереннее. На оклик поворачивался медленно и непременно всем корпусом. Глаза смотрели прямо в глаза встречного поселкового люда. Мало того, на губах стала проявляться все та же, что и у дядьки, усмешечка.

– Глянь-кось, и в энтот молокососе варначья кровушка заиграла, – толковала какая-нибудь бабенка соседке по лавочке. – Ишь, как голову-то заворачиват, ни дать ни взять – убивец Данилка...

– Так, милая, та-ак, – согласно кивала соседка. – Тока кто в точности знат, что Данилка убивец? А уж повадками – вылитый варнак. И по улице идет – не глянет, быдто не люди кругом, а вши каки-нибудь. Но вить отец-то Володькин не таковский. Нет в ем того гонору...

– Не скажи, подруга, – возражала зачинщица разговора. – И Степан Афанасьевич с карахтером...

– Так-так-так... – тянула другая, не зная, что возразить.

А возражать действительно было нечего. Степан Афанасьевич Белов характер имел твердый и в этом ни в чем не уступал старшему брату. Но он жил с людьми и среди людей. Потому привык сдерживать себя, урезонивать, когда надо было, уходить в сторону от места, где назревала драка. Даже пытался пенять старшему брату, мол, ты бы, братец, характер-то свой попридерживал, не среди волков живешь – среди людей.

Данила в такие минуты не перечил младшему, а если тот в своих нравоучениях заходил далеко, говорил примирительно:

– Ты бы, брательник, шел к своей Танюхе и читал ей свои морали. А меня поздно учить. Я – сам с усам. Каки это люди, о которых ты все толкуешь? Курята, а не люди. И поселок – курятник, в курятнике и кудахтают. И пусть себе кудахтают. Я же человек вольный. Хожу где хочу. Живу как хочу. Ем, сплю, баб щупаю, пока силенки есть.

После таких разговоров иной раз брал в руки гармонь – эти минуты особенно любил Вовка. Какая-то задушевность – даже нежность проявлялась в Даниле Афанасьевиче. Какая-то пронзительная несказанность или, вернее, невысказанность изливалась в распевных всхлипывающих планках старенькой гармонии. Какая-то тонкая чудная песнь страдальческой души, напрасно искавшей земное счастье и разбившейся вдреизг об острые камни с высоты птичьего полета. Разбившаяся, но не погибшая невосвратно, а подлеченная, с видимыми глазу уродливыми рубцами ран, под которыми продолжала струиться молодая родниковая вода – никому не видимая, никем не испитая.

Звуки мелодии незнаемой, а может, никогда никем не слышимой, потому как тут только и родившейся, входили в окружающих сродственников неотвратно и властно, и ничто не могло прервать ту музыку, будто ничего и никого не было в доме, кроме этой музыки и всхлипывающих планок.

В такие минуты Вовка начинал чувствовать себя ребенком и торопился залезть на печь, улечься там на живот, подложить под щеки обе руки и молча, зачарованно глядеть на гармониста – на его пальцы, на его заросшее щетиной лицо, на подрагивающие, будто живые, мехи гармонии, на которой под настроение игрывал его отец. И он сам, Вовка, игрывал,

перенявший от родителя несколько немудрящих залиvistых плясовых, какие отрывали от стола захмелевший люд в гулянках и сбивали в шевелящуюся, подпрыгивающую и покрикивающую толпу, от беспорядочного топота которой поскрипывали половицы и позванивали стекла окошек.

В поселке в те времена каждый второй житель мужского пола был гармонистом, но никто не сравнится бы с Данилой Беловым в искусстве звуками пробиваться к душам людей.

Какая уж там русалочка-санитарочка могла устоять, когда в редкие часы передышек между боями солдат Данила Белов брал в руки тальяночку! Какая вообще женщина могла не дрогнуть и не сомлеть телом, душой – не запечалиться и не броситься на грудь, окажись наедине с тем солдатом где-нибудь в укромном уголке!

Чудную мелодию сменила излюбленная песня Данилы про бродягу с Сахалина. Гармонист раздвинул мехи, будто распахнул душу, и запел:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...

Низкий, с легкой хрипотцой приятный мужской голос не торопясь вел рассказ о судьбе страдальца-бродяги, и Вовке начинали мерещиться невиданные места, неизвестные люди, неслышимые речи. И это «дикое Забайкалье» представлялось краем с непомерными возможностями для человека сильного и неустрашимого. Где опасности, крутые горы, а в горах этих – золото. Много золота, и его надобно взять. Зачем? А затем, чтобы быть еще сильнее, еще независимей, чтобы стоять над всеми теми, кто не смог, не сумел, дрогнул, отступил.

А вот он, Вовка, не отступит и когда-нибудь явится в это Забайкалье и намоет потребное количество желтого металла, о коем имел представление лишь по материному колечку, доставшемуся той от бабки. Колечку самоделошному, с едва приметными щербинками, поблескивающему какой-то потаенной теплотой, за которой чудилась тайна.

Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать:
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,
Здоров ли отец, хочу знать...»

В этом месте Данила на мгновение приумолкал и уже потишевшим голосом, в котором слышалась неподдельная тоска по невозвратному, пересказывал:

«Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт.
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит...»

И следом резко, в полную силу голоса:

«А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит...»

Почти навзрыд плакала Татьяна, отвернувшись к окошку, нахохлившись, сидел хозяин дома, и лишь Вовкины глаза горели ярким пламенем молодой отваги, а мыслями он, воображением был где-то далеко-далеко, что, кажется, вернуть его из этой дальней дали было бы невозможно, даже если бы рядом прогремел выстрел из двустволки.

Он видел себя богатым и счастливым, мчавшимся по поселку на тройке лошадей – в хорошей одежде, в начищенной до блеска обуви, в соболиной шапке и соболиной же дохе. И вот замирает на месте тройка, кони ржут и бьют копытами землю, а он, Вовка, сходит из богато прибранных коврами саней, а тут и девица падает на его широкую грудь. И – свадьба...

В этом месте Вовка вдруг очухивается и думает раздраженно: «Зачем свадьба? Какая свадьба?.. Мне еще в армию идти, учиться надобно...»

Он трясет головой, будто высвобождаясь от наваждения, да и дядька уже поставил гармонь на тумбочку в переднем углу, засобирались ехать к себе на выселки.

– Ты, востроглазый, чай, не сомлел на печи? Выйди-ка дядьку проводить до саней, дело есть.

Во дворе, осмотревшись и убедившись, что никого нет поблизости, шепнул Вовке:

– Слышь, Володька, давай-ка завтра поутру махнем тут в одно место.

И, приставив к губам палец, добавил:

– Только матери сбрыхни, мол, пушнину сбывать едем, я потом тебе маленько денегжат подброшу...

* * *

По наезженной зимней дороге ехали споро, огибая выступающие лесные глухомани попеременно с открытыми пространствами колхозных полей. День выдался теплый, пробрасывал мелкий снежок. Завернувшись в тулуп, Данила полулежал, привалившись к мешкам, которые бросил в сани перед выездом.

Данила, казалось, дремал всю дорогу, лишь изредка подсказывая Вовке, куда сворачивать. На нем был добротный полушубок, на ногах – бурки, на голове – рысья шапка. Ехали верст пятнадцать, то лесом, то колхозными полями, и вот деревня.

На подъезде дядька оживился, наказав ехать задами, мимо неказистого вида фермы к крайней справа избе.

Сразу видно было, что здесь отсутствовала хозяйская рука: скособоличившаяся калитка, покосившиеся заплоты, распахнутая дверца стайчонки, за которой и не пахло животинной.

Все это произвело на Вовку тягостное впечатление, и в дом он вошел не в лучшем состоянии духа, ожидая и здесь увидеть такое же запустение. Однако неожиданно для себя был приятно поражен чистотой и опрятностью, в которых содержалось внутреннее убранство жилища двух женщин с неестественно красными губами. Одну, что была постарше, звали Людмилой, та, что помладше, назвалась Клавдией.

Людмила как-то по-свойски подошла к Даниле, обняла, поцеловала в щеку, оставив красный след. Заговорила просто, по-домашнему, будто мужик отъезжал куда-то по делам и вот возвратился до родной хаты.

– Давненько мы тебя не видели, Данила Афанасьич. Надолго ли пожаловали? Или на день-два? Стоило тогда и ждать тебя, месяцев с пяток не появлялся...

– И я радый вас видеть, мои милые женщины, – отвечал Данила: на лице его играла добрая снисходительная улыбка, какой Вовке никогда не приходилось наблюдать, и эти неожиданные перемены в дядькином поведении поразили его до такой степени, что он стоял в буквальном смысле с открытым ртом.

Данила развязывал принесенные из саней мешки и вынимал куски сохатины, еще какого-то мяса, несколько кусков свиного сала, лагушек дикого меда, пакет конфет, пакет же пряников, а напоследок – два свертка: один, что побольше, подал Людмиле, другой – Клавдии.

В свертках оказалось по цветастому платку, по кулечку цветных ниток, по гребешку, по заколке для волос, по недорогому браслетику из зеленого цвета камушков. Людмиле достались, кроме названного женского добра, маленькие туфельки и яркая кофта. Туфельки Людмила стала тут же примерять, и они, к удовольствию наблюдавшего за женщинами Данилы, оказались ей впору. Женщина тут же прошлась по комнате, притопнула и, к Вовкиному удивлению, пропела:

С милым ходим кругом, кругом,
Нет красивой парочки.
Мне на зависть всем подругам
Дарит он подарочки...

– Вот-вот, Людке – подарочки, а мне – фигу с маслом, – обиженно проговорила Клавдия, о которой на мгновение забыли.

– Не горюй, кареглазая, – приобнял ее за плечи Данила, – и тебе следующий раз привезу что-нибудь на зависть Людке.

– Ну-ну, посмотрим...

Женщины принялись за мясо, разделав его на куски. Клавдия раскатывала по столу тесто, Людмила рубила сечкой мясо в небольшом корытце. Данила с Вовкой, от нечего делать, на лавке около печки перекидывались в дурачка.

– Слышь, дядя, – спрашивал прерывающимся шепотом племянник. – Кто они такие, почему одни живут?

– Тут, племяш, своя история... – так же полусшепотом отвечал Данила. – У Людмилы мужа и сына придавило перевернувшейся телегой с сеном. У Клавдии парня забрали в армию, и погиб парень-то, а другого она не пожелала. Так и живут вдвоем, перемогая свою судьбину.

И добавил:

– Женщины они хоть и гулящие, но добрые, зла от них нету. А в опчем, не думай об этом. В жизни еще не то бывает.

Часа через полтора сели за стол. Проголодавшийся Вовка с нетерпением глядел на кастрюлю с пельменями, что поставлена была в самый центр стола, вокруг нее – тарелки с нарезанным салом, грибами, огурчиками, отдельно лежали куски черного хлеба. Последней была поставлена четверть с самогоном.

Рюмки наполнил Данила и со словами «вздвогнем, хозяйюшки» – залпом опрокинул свою. Потянулся за огурцом, подмигнув племяннику, мол, не робей, давай делай, как я.

Пил Вовка впервые в жизни. Двух рюмок оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя вровень с дядькой, и он начал с жаром говорить что-то сидящей рядом Клавдии.

Тут уж Данила подмигивал Людмиле, кивая на разошедшегося племяша, и скоро та оказалась у него на коленках, заливаясь неестественным смехом.

И странное дело, не почувствовал Вовка ни волнения, ни удивления, будто выполнил какую-то повседневную работу – не совсем чистую, но сладкую, а чуть забрезжил рассвет, потихоньку поднялся, оделся, вышел во двор, где еще с вечера приметил кучу сваленных как попало чурок. Хмыкнул, попробовал пальцем зазубренное лезвие топора, прикинул, сколько времени потребуется для того, чтобы переколоть те чурки, поставил первую на круглую опору и с силой опустил топор в сырую мякоть колец дерева.

Чурки разлетались на поленья, а он все думал и думал. Надо было что-то решить, вслушаться в беспокоившие его мысли. Надо было разобраться в себе, понять, что он хочет и к чему собирается прикипеть делами, сердцем, на что потратить силы, годы, жизнь. И что он есть в свои неполные семнадцать лет, и чем он станет лет эдак через двадцать. Надо ух-

дить от скудости и серости интересов своих одногодков, от цветастых платков мечтавших выскочить замуж поселковых девок. Надо строить свое будущее решительно и с размахом, не боясь быть первым, как не побоялся его прадед Ануфрий основать заимку в глухомани присаянской тайги.

Мысли эти давно не давали покоя, родились они, питались они отрывочными, порой бессвязными откровениями дядьки Данилы Афанасьевича, преломляясь через небогатый жизненный опыт самого Вовки.

Кроме Любы и Витьки в семье Беловых была еще старшая Люся, уехавшая из дома пятнадцати годов от роду, после окончания училища, где обучалась на штукатур-маляра, направлена была в одно из строительных подразделений Братскгэсстроя. Там вышла замуж, вскоре получили они с мужем и квартиру.

Хотел бы поехать туда и Вовка. Но приезжавшая погостить к родителям сестра убеждала, чтобы он сначала поучился – ну, хоть в Иркутске на охотоведа.

– Будет специальность, – говорила Люся, – устроишься куда угодно, а это дело, то есть охотоведение, я думаю, как раз по тебе. Вот и не тяни, поступай, а в армию и после института сходишь. В армии с образованием будешь на виду.

Люся рассуждала по-городскому, рано смекнув, что ученому человеку всюду полегче. Потому мужа-бетонщика толкнула на вечернее отделение техникума, где тот учился уже на третьем курсе.

– Потом, – убеждала брата, – на заочное в институт и будет начальником цеха, и я при нем – барыня. На директора, конечно, не потянет, но кто знает – может, до главного механика дойдет или до главного инженера. А это и квартира хорошая, и зарплата, и положение. Я сама сейчас хожу на курсы кройки и шитья, дома всех обшивать буду, да и лишний заработок в семью. Я, Володя, весь век штукатурить и малярничать не собираюсь. Работа эта не женская – тяжелая, грязная. Я потом куда-нибудь в ателье устроюсь. Так что ты долго не думай, а поступай учиться, ну и мы с Игорем подможем, чем сможем, – не век же тебе в этой глухомани прозябать. Давай, братик... По лету же приезжай к нам погостить. Город покажем, посмотришь, как люди живут. Ты ведь нигде не был, потому и Ануфриево тебе кажется столицей. Между тем Ануфриево – поселок умирающий. Ну, десять лет еще, пятнадцать – и лес кончится. А так как другого производства здесь нет и не предвидится, людям станет нечем жить. Он уже умирающий. Посмотри, за сколько километров люди ездят валить лес и как стало трудно вывозить его из лесосек. Теперь вспомни, сколько вокруг Ануфриева лет десять назад было мелких леспромхозов – десятки, если не сотни. И где же они сейчас? Все расформированы: техника, дома вывезены, люди разбрелись кто куда, хотя там остались родные им могилки. И никто не спросил: хотят ли они выезжать или не хотят. Так же будет и с Ануфриевом. Или посмотри, как люди стали пить, особенно молодежь, которой бы вперед глядеть, строить собственную жизнь, чтобы в жизни этой добиться чего-то путного, а им ничего не надо. Почему? Да все по той же причине – по причине отсутствия перспектив. А молодежь к этому всегда была особенно чувствительна.

Люсины доводы убеждали, и Вовка уже твердо решил про себя: поедет учиться, хотя родителям и дядьке Даниле пока ничего не сказывал.

Взгляд сестры – взгляд родного ему человека, но как бы со стороны. Иной угол зрения, иное видение, иное понимание ситуации.

Добавим также, что в семье Степана и Татьяны Беловых был старший сын, Санька. Этот представлял поколение леспромхозовцев, созревшее к середине семидесятых годов, когда среди работяг почалось повальное пьянство. К бутылке горькой пристрастился и Санька.

И, видно, не могло быть по-иному: поселок все более обретал черты поселения-временщика, что хорошо понимали его жители. Вот кончится лес, а он когда-то должен был

кончиться, и нечем будет заняться людям. Близость Саянских гор не могла не влиять на климат, и зимы здесь были, как нигде, суровые, лето – короче короткого, следовательно, о развитии сельского хозяйства в Ануфриеве нечего было и думать.

Потому началось и шатание в людях, коснувшееся в основном молодых, приходящих на смену отцам. Когда все вокруг переделалось, перекроилось и тайга, реки, озера вдруг стали доступными для сиюминутного разграбления, молодых уже ничего не интересовало, не имели они жалости к лесам, к обитающим в них зверю, птице, мурашу, к плескавшейся в реках и озерах рыбешке.

Лесосеки представляли из себя искореженные техникой пространства с обрубками и обломками древесины. Именно древесины, потому что останки деревьев уже ничем не напоминали таковые. Немало брошено было уже заготовленного леса в местах, откуда лесорубы выехали. Сштабелеванный, многими тысячами кубометров прел он, никому не нужный, а вместе с ним погибала и тайга.

Но и этим не кончался разбой. Лесорубы выхватывали лучшие участки, и если на их пути попадался кедровник, он также подлежал уничтожению, что было подлинно кощунством по отношению к редкому дереву-красавцу да и к сибирской природе в целом, что поколение Данилы и Степана еще почитало за великий грех.

Оттого, видно, и пили люди, что по трезвянке не всякую пакость можно сотворить. Пьяному же – и море по колено.

Думается, понимало это и леспромхозовское начальство, сквозь пальцы смотрящее на приезжающих в лесосеки полупьяных мужиков, где они постепенно трезвели и стервенели, чтобы уж по возвращении домой наново залить глотки, умыкнув из семьи последний рубль.

В доме родителей Санька появлялся нечасто и с единственной мыслью – похмелиться. На похмелку же могла дать только мать, и, если ее не было, ходил из угла в угол понурый, не поднимая головы и ни на кого не глядя.

– Попробуй только что-нибудь стибрить, я тебе тогда всю морду расквашу, – на всякий случай упреждал брата Вовка, если, конечно, сам был дома.

Для Вовки старший братеньник не представлял интереса, потому как тот, по его мнению, не умеет жить и никогда не научится. Никогда уже ничего не добьется, ни к чему путному не приклеится. Не так и не тем местом надо поворачиваться в жизни. Не то в ней искать и не то находить. Не туда идти, куда идет Санька. А идет он – в никуда. Просто напьется однажды и – сдохнет. Без смысла. Без следа. Без борьбы.

И так, как братеньник, в Ануфриеве жили многие. Вернее, перемогали жизнь. Перемогали день, месяц, год. Опускались ниже низкого. И путных детей от таких не будет. Шалопай какие-нибудь. На шалопаях этих род таковых и прервется. Точно так же прервется, как прерывают они жизнь дерева, зверя, птицы, мураша.

Эх, дали бы ему волю, каждую срубленную лесину бы учел, не дал бы упасть и щепке, и все – в дело. На лесе, если подойти с головой, можно много заработать, а не так, как эти, – крошат и крушат. Наблюдение это, вывод этот Вовка Белов сделал в самый первый раз, как побывал с отцом в лесосеке, где шла рубка леса. Но тогда еще блюли порядок. Собирали сучья. Берегли подрост. Не валили кедр. Эти же совсем остервенели.

Подымаются утром полупьяные, немые от бани до бани, с заросшими щетиной физиономиями. Ругнутся с бабами, натянут на себя кое-как спецуху и – к конторе. И там спрашивают друг дружку:

– У тя ниче не осталось со вчерашнего?..

И знают, о чем спрашивают, потому как в очумелых головах только одна мысль и жива – похмелиться бы. И – находят. Под землей находят похмелку. Вливают в свои глотки, содрагаясь при этом всем телом, и радуются – не знают чему. Вот, мол, какие мы ловкие да умные. Нашли же! А того не понимают, что они уже и не люди. Не человеки, а так, быдло

лесосечное. И – в будку машины. Едут, трясутся по ухабам, прижимая к телу недопитые бутылки, которые время от времени вынимают, и, подпрыгивая на ухабах, толкают горлышком в воспаленные рты, и сглатывают какое-то количество жидкости. Выдохнут из воспаленного нутра винную вонь, сожмутся всеми членами тела и, стараясь перекричать друг дружку, рассказывают о вчерашних подвигах.

А лес, тайга ждет таких не дождется. Вот, мол, наедут, вытряхнутся из будки, разожгут костерок, напьются чиферу, доцедят поллитровки, заведут трактора, бензопилы и вторгнутся с остервенением в пределы лесосечные, как вороги лютые. И будто ничегошеньки не надо ни им самим, ни их деткам, ни их внукам, ни соседским деткам и внукам, тем, кто живет в одно время с ними и будет жить после них.

И бросится врассыпную лесная братва по еще не тронутым глухоманям: медведи, лоси, зайцы, бурундуки. Сгинут невозвратно мураши, божьи коровки, букашки и таракашки. Выродятся ягодники, омелеют речки и ручьи. Падет красавец и кормилец кедр. Батюшка-кедр – дерево деревьев, коему молиться бы надобно заместо иконы, ежели нет таковой под рукой. И только ветру будет здесь воля. Ветру да тягучей тоске-кручине по былому да утраченному благолепию природы... Утраченному не от большого ума согласно поставленным грандиозным государственным задачам, а по причине отсутствия такового у тех, кто стоит за всем этим безобразием и кто по большому счету должен бы отвечать и по правде, и по совести, и по вышнему Божьему и человеческому закону.

Нет, конечно, Вовка до такой высоты полета мысли недотягивал, и ни к чему это было ему. У Вовки – свое собственное мироощущение. Свое соображение, своя цветовая гамма чувств.

«Вот где добра-то неучтенного, – соображал он, окидывая порой глазом просторы колыхающейся до горизонта тайги. – Иди, владей, добывай, бери, гребь под себя и неси, сколь можешь унести. Не можешь на хребтине, возьми трактор, самосвал. Не можешь в одиночку, найми пьянчуг. Посули им водки от пуза, и побегут за тобой вприпрыжку. Завези их в тайгу, выгрузи, дай жратвы и поставь задачу, мол, пока не сделаете, ничего не получите. А не нравится, топайте назад в поселок своими ножками. Не хотите топать? Далеко? Тогда трудитесь. И будут горбатиться, как миленькие. А не захотят, так о жратве пусть забудут думать. Та-ак-то-о, милаи...»

За работой Вовке думалось легко, мысли выстраивались своим порядком, и каждая додумывалась до конца. Он не увидел, как из дома вышел дядька Данила, некоторое время стоял, наблюдая за племянником, будто что-то про себя прикидывая.

– Ты, паря, я вижу, по-хозяйски задело принялся, – проговорил, вернув Вовку на грешную землю. – Клавдия-то третье платье примерят, чтоб тебе пондравиться, а рожу намазала – не узнать. Не баба – ягодка. Не собираться ли прописаться?

– Эти ягодки, – кивнул в сторону дома племянш, – пускай падают в твою корзину, дядя. А я – домой.

– Гляди ты, – как-то вяло, без нотки удивления в голосе пробурчал Данила. – Оперяйся помаленьку. Ну-ну, меня погоди, вместе поедем.

О девах и о том, где были, они больше не говорили. В Вовкином характере что-то слаживалось, менялось, укреплялось, отмирало. На дядьку Данилу он уже не смотрел завороченно. Дядька теперь представлялся ему, как все смертные мужики, что ходили по Ануфриеву, гнули спину в лесосеке, пили и гоняли своих жен. Но дядька все одно был лучшим среди всех – это вот убеждение в нем нельзя было поколебать. Даже в слабостях своих – лучший. Пять сезонов соболевали, пять годков перемогали неудобства таежной жизни. Данила научил племянника всему, что знал сам. Не опекал и не привязывал к себе, дабы – не приведи господи! – не случилось чего, не попал бы куда, не сделал бы то, что не следует делать.

Другими глазами смотрел теперь Вовка и на поселковых девок, на женщин вообще. И через это надо было пройти, о чем позаботился все тот же Данила Афанасьевич. Предусмотрительно позаботился – это Вовка поймет позже, а сейчас возвращался в Ануфриево иной – рано оперившийся парень, как справедливо подметил старший Белов. Оперившийся и приготовившийся вылететь из родного гнезда.

Уже подъезжая к дому брата, Данила обронил:

– Завтра, в крайности послезавтра, думаю на участок съездить. Запрягу Гнедого и – вперед, по холодку. Проверю капканы, петли. Може, че попалось, иль попалось, да хищники погрызли. С неделю не был. Думаю за ручей Безымянный сходить...

– За какой ручей? – не понял Вовка.

– Есть тамако один, прозывается Безымянным.

Вовка такого ручья не знал, никогда не вторгаясь в пределы владений дядьки. Своего участка хватало – за неделю не обойти.

– Ну а ежели не бывал, то, может, вместе сходим? – продолжил Данила. – За Безымянным славный кедрач. Чистый. Я завсегда на него ориентируюсь: ежели добрая завязь, то в будущую зиму всякого зверья не оберешься. Батюшка-кедр кормит всех, приманивая к себе в урожайные года всякого таежного жителя.

– А в это время чего тебе там?

– Орехи там у меня добытые, вывезти нада, а таскать кули в горку мне уже тяжело, вот и подможешь.

– Да в школу мне... – неуверенно начал Вовка. Он ходил в десятый класс и, надо сказать, по-своему старался, думая поступать в сельхозинститут на охотоведческое.

– Подождет школа-то, не впервой... Подтягивайся на выселки. В юные годы ночь проходит быстро: только прилег, только положил голову на подушку, и вот уже мысли в голове спутались, по всему телу разлилась сладкая дремь. И – одна за другой картины, в кино не надо ходить: то с крыши сарая летишь, но не достигаешь земли, то от кого уносишь ноги, но никто тебя не может догнать, то в пучину воды на самое дно бултыхнешься, а потом вдруг окажется, что стоишь на лугу среди цветов. И так бы всю жизнь.

– Ты че, стервец, в школу-то не идешь? – наклонилась над разоспавшимся сыном Татьяна. – Говяши хочешь сшибать по дорогам аль по тайге всю жись шастать, как дядька? Это он тебя сбил, черт сиволапый. Ну че хорошего в твоих шатаниях? Об учебе нада думать. Специальность приобретать.

– Я нынче и так поеду поступать, – отговаривался в полусне.

– Ку-ды пос-ту-пать? – наседала Татьяна. – Восемь классов чуть кончил, да еще полтора коридора, в голове – дым. По-ос-ту-у-пать... Ишь ты, поступальщик. За учебниками бы сидел да школу бы хоть закончил, а там бы видно было...

– Буду готовиться, никуда не денусь, – отговаривался, окончательно просыпаясь.

– Вот наказание божье, – доканчивала уже в кути. – Отец где-то по тайгам шатается, а може, нашел уж себе каку-нибудь молодуху на старости лет. Старший сынок – неуч, тока бутылка на уме. Энтот вот тоже. Ни с кого толку нету. Хлещись тут одна. Ой, люшеньки...

Татьяна старела, с годами ожесточаясь все больше. Дочь Люба еще в детстве вывернулась из рук – все к отцу да к отцу. Этот – к лешему с выселок готов бежать сломя голову. Санька, которого жалела больше других и которому во всем потакала, – спивается. С младшего, Витеньки, еще нечего взять.

«Ой, люшеньки...» – глядя вслед уходящему сыну, горевала Татьяна.

Протекли сквозь пальцы детки-то, как протекают ее уже седые волосы, когда принимается прибирать поутру, опустив худые жилистые ноги в стоящие подле кровати валенки. Отгородились заплотом.

«И куды опять наладились с энтим Данилкой? – размышляла. – Може, и ниче, вроде учится, старается...»

На том и успокаивалась.

До выселок было километра три, прошел их Вовка быстро, и скоро показались постройки усадьбы его прадеда Ануфрия, где проживал дядька Данила.

Усадьба представляла из себя замкнутое заплотом пространство, где дом, баня, стайка, сарай, навес поставлены были так, чтобы проживающим здесь хозяевам было предельно удобно передвигаться, задавать корм скотине, справлять какие-то другие домашние заботы. Было здесь свое место для лошади, коровы, овец, курей, для телег разного назначения, для саней, для упряжи и прочего домашнего скарба, какой должен быть на всяком подворье, где живут стайкой, огородом, лесом, рекой. Где в своем месте натянуты шнур для развешивания белья и проволока для передвижения собаки. Сгоревшая некогда баня в стародавние времена построена была на огороде, Данила поставил свою, в нескольких метрах от дома. Стайкой, как мы уже говорили, он не пользовался, а для собак приспособил место под навесом, которые и дом сторожили, и хозяину были заместо друзей и собеседников. Причем каждую он отличал по характеру, достоинству, полезности. По-своему и воспитывал. К примеру, можно было наблюдать такую картину. Выйдет на крылечко с ружьишкой в руках и призовет к себе напакостившего кобеля Бурана. Тот приближается против всякого своего желания, поскуливая, ползком.

Данила терпеливо ждет. Когда пес оказывается в метре от него, сует ему в пасть дуло ружьишка и говорит, будто человеку, на полном серьезе:

– Ну че, пакостник?.. Догулялся? Допрыгался? Счас бабахну, и только мозги твои дурацкие полетят в разны стороны...

Сам же все дальше и дальше сует ствол в пасть собачью. Тот слегка отползает, глядит умоляющими глазами в глаза хозяина, будто просит прощения, мол, то было в последний раз и боле не будет никогда. Бес, мол, попутал...

– Бес, говоришь, попутал? – будто угадывает мысли собаки Данила. – А я вот те счас все твои внутренности попутая. Ты, поганец, зачем стягну тяпнул из сеней? И слопал-то вить один, никого не подпустил к себе. А ты его добыл, стягну-то? Ты сколь в прошлом годе облаял собольков-то? Дурочку гнал, када надо было работать?..

У пса шла пена из пасти, из глаз катились слезы, сам он мелко дрожал, и пора было завершать «воспитание».

Данила отставлял ружьецо, приказывал:

– Иди уж, но смотри, поганец этакий...

Буран отползал от хозяина на некоторое расстояние задом, затем поворачивался и пускался наутек.

Данила усмехался, доставал кисет, скручивал папиросу.

– Все понимает, – кивал в сторону уносящего ноги пса.

Данила, казалось, нисколько не старел. Правда, крепко сбитая фигура его несколько размягчилась, плечи закруглились, проявился живот. Иной раз прикашливал, сплевывая громко, будто в сердцах. Будто злился на кого.

Брился он нечасто, позволяя отрастать щетине, глаза смотрели отстраненно, не выражая порой ничего, кроме какой-то потаенной горечи, которую прятал под разросшимися топорщущимися бровями. Если прибавить к тому еще и одежду, а носил он неизменно потертую меховую душегрейку, линялую рубашку в большую клетку да заправленные в валенки темные суконные штаны, то всякий, кто глянул бы на него в окружении почерневших от времени стен построек, невольно подумал бы про себя: «Лешак...»

Фигура, повадки, привычки его как нельзя вписывались во внутреннее устройство жилища. Главное, что было в доме, конечно, печь – большая, глинобитная, с полатями и

сводчатыми проходами внизу – для вентиляции воздуха и сушки обуви. На стене, ближе к печи – развешанные пучки разных трав, здесь же, ближе к кути – связки лука. Здесь же безмен, ножницы для стрижки овец, сечка и прочие нужные в хозяйстве вещи. Перегородка в доме отсутствует за ненадобностью – отгораживаться-то, видно, не от кого. Старинная деревянная кровать стоит за печью, у дальней стены, и со входа в жилище невидимая. От печи до стены протянута бечевка, и можно задернуть ситечную штору, чего Данила никогда не делает. Ближе к входной двери у окошка поставлен стол, который никогда не знал клеенки. По праздничным дням стол застилается скатертью, в будни – скоблится широким косарем, что проделывает сам хозяин. Чуть поодаль – обтянутый дерматином диван с круглыми, в виде подушек, ограничениями по бокам. В кути все, чему и положено быть: стол с отделами для всякой всячины внизу, на стене три полки в виде шкафа для посуды. И стол, и шкаф закрыты занавесками. Рядом с небольшим окошком стоит старинный же буфет, в нем хранится что получше: графинчик, рюмки, блюдца, какие-то замысловатой формы бутылки, что-то еще. Внизу в мешочках сахар, макароны, вермишель, крупы – все это Данила в небольшом количестве покупает, когда выезжает в райцентр. Еще в доме самоделошная тумбочка; впрочем, здесь все самоделошное, кроме разве что дивана. В ней хозяин хранит приспособления для починки обуви, для подшивки валенок – нитки, иголки, шила, дратву, вар. В верхнем отделе – оружейные припасы: патронные гильзы и магазинные заряженные, картечь, дробь, жеканы, капсули, порох. На тумбочке привезенная с войны гармонь. Есть в жилище и заказанная после войны ануфриевскому столяру Кольке Кудрявцеву этажерка, на которой с десятков книг – разных, от школьной «Родной речи» до произведений некоего писателя Боборыкина. Тем же мастером изготовлен платяной шкаф – надо же было куда-то определить выходной пиджак с орденами и медалями, выходные же полушубок, драповое демисезонное пальто на манер городского для выезда и прочее тряпье, коему хозяин мало придавал значения.

Швы стен аккуратно промазаны коровьим навозом, смешанным с глиной, а после на многие разы забеленные. На самом видном месте на стене – портрет отца с матерью и еще какие-то карточки по низу деревянной крашеной рамы.

Дом сложен из половинника. Так строили немногие даже тогда, когда люди знали подлинную цену лесу. Половинник – это распушенный пополам сутунок. Распиленный, понятно, двуручной пилой. Работенка не из легких, но кто ж тогда заботился об облегчении работы? Дом из половинника наружу имел те же горбатые бревенчатые стены, но внутри стены были ровными, будто оштукатуренными. Болонь наружу обеспечивала строению крепость и долговечность, ровные стены изнутри радовали глаз.

Видно было по всему, что Данила послабеет нескоро. Держал себя в чистоте телесной, устраивая постирушки с неизменной периодичностью – раз в неделю. Раз в неделю топил баню. Топил со всем тщанием, промывал полы, протирал полки, скамейку, застилал полки: летом – разнотравьем, зимой – листовым сеном. Раздевался до исподнего и шел с веником под мышкой. Парился долго, с долгими же перерывами для отдыха, и завершал мытьем. Признавал только рогожью мочалку, которой растирал тело до багровой красноты. Затем возвращался в дом, где долго лежал на диване, изредка сглатывая из ковша заранее приготовленного морсу из клюквы.

Но и это было еще не завершением банного дня. Отдохнув, Данила подымался с дивана, шел к приготовленному перед баней же столу, на котором стоял графинчик с самогоном, тарелочки с грибками, брусничкой; сало и лосятину тут же на доске резал уже перед употреблением, дабы не потеряли сенной стылости, а из печи вынимал небольшой чугунок с дымящейся круглой картошкой.

Данила в своих немудреных хлопотах ни в ком не нуждался. Не требовался ему и себе-седник. Пил он и ел медленно, иной раз отрываясь от еды, чтобы передохнуть и додумать

какую-то свою думу. Передохнув, возвращался к граненой рюмке. Так до тех пор, пока не осушал графинчик, а графинчик тот был «поболее пол-литра и иомене литра» – его, Данилы, мера. Трапезу завершал чаем, который он именовал «таежным» – то был крепкий, заправленный медвежьим или каким иным жиром, напиток «от всех болезней», с которого прошибал пот. Напоследок сворачивал папироску и долго с наслаждением курил.

Нередко бывало, что в банный день наведывался дед Воробей – в чистых, заправленных в хорошие валенки, штанах, полушубке, под полушубком – душегрейка, надетая на почти такую же, как у Данилы, рубаху с большими клетками. Маленькое сморщенное лицо деда отражало выражение серьезности и даже некой торжественности – для него выход к давнему дружку Афанасьичу был явлением не рядовым, что он всячески подчеркивал короткими значительными фразами:

– Ты, Данил Афанасьич, не серчай, не за просто так к тебе пожаловал, дело есть... А дело завсегда взашей гонит.

И добавлял неизменное:

– От... и – до...

– Како ж у тебя дело ко мне? – равнодушно спрашивал хозяин.

– Не знаю, как и сказать... – тянул Воробей.

– Ну и скажи, – так же равнодушно отзывался хозяин.

– Ты ж понимать, – начинал Воробей почти шепотом, приближаясь к Даниле, чтоб тот лучше слышал. – Ты ж понимать, я почитаю что спать перестал. Вот и кумекаю: може, Осподь-то Бог посылат мне бессонницу для измышления?..

– Размышления, – поправляет усмехающийся Данила.

– Во-во, для раз-мыш-ле-ни-я-а...

Воробей поднимает к небу палец, пучит глаза, выгибается тщедушным телом.

– Ну-ну, – подбадривает принявший игру Данила. – Над чем же?

– А как я жил, а? Пьянствовал? Райку свою бивал? Шкурки соболька аль белки на сторону сбывал? Чре-во-у-год-ни-чал?..

– Эт ты про стегно ведмежатное, кое умолотил за здорово живешь за един присест, иль про че еще?

– И энто – тако же. А мотри, – Воробей выпячивал тощий живот. – Проку-та и нетути. Опять же на тебя мотреть – и вид, и дородность, и хвигура!.. Отчего энто у меня?

– Отчего? – подыгрывал деду хозяин.

– От жад-нос-ти – вот отчего. А жадность в человечешке – первый враг ему ж самому. И энто есть чре-во-у-го-ди-е!

– Захотел и – съел, велика важность, – отворачивался Данила, чтобы Воробей не видел его улыбающегося лица.

– Вот ты и не понимать, – обижался Воробей. – Я к те с сурьезным делом, а ты...

– Знашь че, – примирительно говорил Данила. – Банька у меня на мази. Не хочешь косточки погреть?

– Не-э, – усмирался Воробей. – Ты иди, а я тут обожду.

– Ну а че пожаловал-то?

– Я-от кумекаю про себя, знашь, када не спится в своей хибаре... Люди, оне вить не злы будут. Я-от всяко жил: и возвеличивался над имя, и усмиралси, и воспарял в гордыне...

– Чем же ты воспарял?

– Бывалочи, иду по тайге – все мне доступно. Все могу и всяку тварь примечаю. Всякага зверя могу добыть и не един охотник меня не обохотит. Вот и возвеличивался, гордился, воспарял, отвергал почести, пренебрегал благами, кои сами шли в руки. И Раису свою загнал своей же гордыней. В черном теле держал, када ее нада было одевать-обувать, как ягодку. Холить, лелеять. Вить ежели бы я, как другие, о плане думал, однако же не забывал и про

себя, то и дом у меня был бы справный, и хозяйство, и в дому – полна чаша. Я ж ниче себе не нажил – все на промхоз, все на государство. А кака жэнщина будет держаться за таковского мужика? Вот и бежала от меня Раиса к другому, который как промысловик в подметки мне не годился, а – все под себя, все под себя...

– Правильно толкуешь, но опять же, будь ты другим, то и орденов у тебя не было бы, и славы истинного промысловика не спытал. Под себя ж грести – ума большого не надо. Многие гребут, дак что с того: людишки те – тьфу и боле ничего. Ты ж в своем роде – герой, и баба у тебя должна была быть геройская. Раиса ж твоя легкого искала в жизни, а нашла ли? – успокаивал старика.

– Нашла – нет ли, однако ж убегла к другому. Не-эт, че-то я делал не то и не так. Не с того краю взошел в жись...

– Ну, жди меня, после бани посидим, покалякам.

Данила шел в баню, напрочь забывая о томящемся в доме старике. Парился, мылся, отдыхал и только после всего являлся в дом, тут же падая на диван. Воробей сидел, склонившись над какой-нибудь, взятой с этажерки, книжкой, и вроде как ничего более для него на свете не существовало.

– Вот мотри, че писано в книжке, – неожиданно поворачивался к Даниле и начинал медленно читать, по-своему коверкая слова. – «Оне стояли, прижавшись к друг дружке, и он цаловал ея щеки и губы, а ена молчала, глыбко дыша, и ей было хорошо с им, быдто знала ево всю жись...» Нада ж, как забористо писано, а? Я вот с Раисой своей и не гулял вовсе. Взошел к ея родителям и брякнул, мол, хочу жаниться и – все тут. От... и – до...

– Ты б еще добавил: женилка, мол, выросла...

– И – выросла, парень-то я был ходкий, кровь с молоком!

– Ты ж только что толковал, что не тем местом был ходкий...

– Ты вот помладше меня, а все туды же... – обижался Воробей.

Но Данила уже вставал с дивана, шел к столу, приглашая и гостя. Старик называл хозяина жилища Афанасьичем, Данила старика – Евсеичем.

У них было много общего – и в прошлом, и в настоящем. Данила начинал охотиться с Воробьем на его участке. Долго ходили след в след, делились последним, спали у одного костра, вместе собирались на берлогу – добывать медведя. Евсеич был верным товарищем: не жадничал и не выпендривался, добычу распределяли поровну. Когда от Воробья ушла жена, Данила пытался встряхнуть товарища: уводил в тайгу, похмелял, просил зверопромхозовское начальство о снисхождении, подмогал деньгами. Ничего не помогало.

В одну из лютых присаянских зим появился медведь. Зверюга выдался матерый, хитрый, и пакостил он эдак недели с три: то в одном дворе, то в другом падали коровы, овцы, иная живность. Сладить с ним было некому, так как настоящие промысловики находились в тайгах. И сколь так бы тянулось, если бы не пошла к проруби бабенка белье прополоскать – пошла средь бела дня, в ясную не шибко морозную погоду, и нашли ее там же с разорванной сломанной шеей. Бабенкой оказалась Воробьева Раиса, которая годов восемь-десять жила с другим мужиком.

Рассказывали, что не ел, не пил, не спал Иван Евсеевич, ходил по окрестностям поселка, чего-то высматривал и вынюхивал, потом сидел в каких-то схоронах, но того зверюгу привез-таки в санях мертвым. С тех самых пор, рассказывали, будто бы чуть тронулся умом. Однако некоторая чудаковатость в нем все же проявилась. Приклеилось к нему и прозвище – Воробей.

С тех пор и начал во всякую пору шататься по тайгам. Данила Белов, пожалуй, был единственным, кто видел в Воробье человека: принимал, угощал, давал ночлег.

К слову сказать, в такие минуты задушевного застолья старик позволял себе немного выпить, не останавливал его и Данила, хорошо понимая, как несладко тому живется в его одиночестве.

Появился Воробей на выселках и в ту неделю, когда Данила с Вовкой вывозили орех. Вывозка заняла два дня – слишком дальним и непростым был путь, да и снег местами был таков, что приходилось вставать на лыжи, чтобы не надсадить Гнедого.

Данила предложил Вовке остаться до субботы, тот отказался: утром надо было идти в школу.

– Ну и ладно: умного дело ведет, глупый за делом тащится. Иди, небось дорога знакома.

В субботу Данила напарился, намылся, Воробей дожидался дома за книжкой.

– С тобой, Афанасьич, я б в разведку пошел, – тянул расслабленно старик. – От... и – до...

– А ты, паря, бывал ли на фронте-то? – чуть усмехнувшись, спрашивал Данила.

– Не привелось. Здесь был фронт похлеще любого инага. Тайга вить месяца три-четыре, остальное время – на лесу и все-та на пупок, все-та на пупок. А заготовки? То сено, то ягода, то живица. План. Не сдашь – мотри потом. Я ж первый был, застрельщик. На мне план и держался-и...

– По бабам тож план был, мужиков-то на фронт забрали? – язвил, не подымая голоса, Данила.

– Обижашь, дружка. Я, окромя своей Раисы, никого не видел – царствие ей небесное... Старик пригорюнился.

– А ты, случаем, от кого о золотишке не слыхивал?

– Я ж тебе, Афанасьич, после войны все обсказал, а ты вдругорядь об том же...

– Я, Евсеич, не о том. Никто, спрашиваю, не проявлял антиреса к золотишку-то?

Данила спрашивал неслучайно.

– Погодь, Афанасьич, забыл сказать. Наехали тут на днях каки-та еологи. Выспрашивали у стариков об ископаемых, о золотишке тако же. У твоего брата Степки были, а че он им мог сказать – не промысловик он. К мене подкатывались. Я сказал, мол, ниче не знаю.

– Геологи, говоришь, а чего сомневаться?

– Дак еологов я знаю, до войны стояли и опосля. С бородами, в очках. А энти...

– Че эти?

– Да шибко уж культурные. И та-та-та, и те-те-те... Не-э, не еологи оне. Шатуны каки-нибудь.

– Откель же они взялись? – допытывался Данила, которого сообщение старика встревожило.

– Дак кто ж ево знат, може, отпрыски тех убивцев, что твоего деда с семьей ухандо-хали... Небось и к тебе наедут. Машина у их. Ночуют в заежке...

– Ну с отпрысками ты подзагнул... – думая о своем, заключил Данила, и больше они о приезжих не говорили.

Раньше обычного улеглись спать: Евсеич – на диване, хозяин – на кровати.

Свою норму самогона Данила на этот раз не выпил. Раскинувшись на кровати, лежал он, впериw глаза в темный потолок, время от времени покашливая.

До последнего слова помнил он тот рассказ отца на смертном одре. Но Степка не все слышал. Он как раз зачем-то вышел, и Афанасий, глянув вслед младшему сыну, оторвался от подушки и принялся быстро досказывать то, что хотел поведать только одному Даниле:

– Степку, как я наказывал, не трожь, иной он, не ево то дело – бандюков учить. Ты ж и старший, и карахтером покрепше. Найди хоть отродье тех злодеев и воздай. Не верю я, что ветки от гнилого дерева могут быть здоровыми. Не ве-рю!.. Вопиют убиенные и мне будет покой в могилке-то. Знаю, грех это большой, тебя толкать, но иде ж был Бог-то, када моих

родителей, братьев с сестренками убивали? И за что? Ну благо бы обогатился тятя, семья бы обогатилась от той жилы, а то жили трудами, горбатились, копейку к копейке прикладывали. Честно жили и честью дорожили. И нада ж... А жилу я все ж нашел. На-аше-ол-л-л... Эт я при Степке сказывал, что не знаю, дабы не смущать. Пускай себе спокойно живет. Ты же знай: от каменистых россыпей, что за Сухой кашей, нада идти строго на запад. На пути будет лежать три глыбких оврага – вроде высохших руслов рек, потом зачнется тягун и дремь лесная. Тягун с версты полторы будет. И – скальный обрыв. Ты пройди по праву руку, пока не узришь три сосны. Ты, Данилка, узнашь их сразу, приметные оне. Быдто в обнимку друг с дружкой стоят. Напротив их – тропа будет, кустами закрытая, по ей зверь к ручью спускаться. Сразу не разглядишь. Зачинай спускаться без страха – не бойсь. Конь по ей спокойно пройдет. Вот в самом низу и будет ручей Безымянной... Тута и мой золотишко-то...

Афанасий закатился в кашле, полез дрожащей рукой под подушку, откуда вынул тряпицу:

– Вот... Самородное золотишко оттелева... Схорони... Потом разглядишь, а то нена роком Степка возвернется...

* * *

На всяком производстве есть облюбованное для совместных сборищ место, куда тянет зайти, посидеть, покурить, поговорить. Есть в таком месте и некое третье лицо, к которому обращаются с большей уважительностью и с чьим мнением считаются. В леспромхозе таким местом была кузня, где обитал Степан Афанасьевич Белов. Для каждого, кто сюда приходил, он был своим, лесопунктовским, при медалях и орденах – о звезде Героя Степана Афанасьевича знали только близкие ему люди. Не любил он шумихи вокруг себя, хорошо понимая, что с такой наградой, как у него, затаскают по детским садам, по школьным утренникам, по клубам и библиотекам. Может, и плохо, что не любил: война ведь была страшная, враг – лютый и личный пример его, солдата-освободителя, мог служить уроком всей леспромхозовской ребятне. Хотя, может, и не в том было дело.

Когда начали с Татьяной жить после войны, случилась в семье Степана Белова беда: объелась чего-то корова и – пала, даже прирезать не успели. А как жить без коровенки в поселке – и сам будешь голодом сидеть, и деток своих заморишь. Фронтвой дружок Леня Мурашов подсоветовал съездить в райцентр к властям, мол, ты ж, Степа, герой, один на всю округу, дак попроси денегжат подбросить на коровенку-то.

Верно, сдуру нацепил звезду и поехал в райцентр, где взошел в исполком к председателю, помялся и брякнул:

– Корова у меня пала...

– Так что ж? – не поднимая головы от бумаг, отозвался председатель.

– Как жить, не знаю. На фронте я всю силу отдал борьбе с фашистскими захватчиками, звезду героя заработал, а подмочь мне теперя некому.

– Кто ж тебе должен подмочь – сам выходи из положения. На фронте ведь тебя никто за ручку не водил. Всем сейчас трудно.

– Дак вот к вам и приехал, – мямлил Белов. – Подмогните... Деньжат на телушку хоть...

– Ты, видно, не знаешь, кого и о чем просишь, – оторвался от бумаг председатель. – Я по образованию учитель истории, а сижу здесь, потому что партии нужны такие, как я, верные люди на местах. Перед самой войной меня на этот пост назначили и на фронт не пустили. Ты думаешь, и я не хотел бы в героях ходить, а потом требовать деньжонок на телушку, мол, я – фронтовик, кровь проливал, по-од-мог-ните-э, мол?..

Председатель скорчил жалостливую физиономию, и это неприятно подействовало на Белова.

«Ишь, артист, комедию разыгрыват. А тут хоть ложись да помирай...»

– Ежели не был на фронте, дак и не знашь, каково там было. Сидеть-то в тылу способней, да еще и бабами командовать, – отчего-то усмехнувшись, неожиданно для самого себя, вслух брякнул Белов.

Председатель медленно поднялся со стула, уперся кулаками в стол:

– Да ты, фронтовичок, совсем с катушек слетел. Да я тебя... Даты... Во-он отсюда!..

Всю дорогу до Ануфриева казалось Степану, что краска стыда не сходит с его лица. Стыда и за себя, и за такую вот власть, к которой простой человек не может обратиться в трудную минуту. В то же время он не мог не понимать всю нелепость собственных притязаний.

Дорога была одна, потому, опустив возжи, предоставил лошади брести без понуканий. Сам же то на один бок приляжет в телеге на подстеленной шубейке, то на другой повернется. «Сидят там, штаны просиживают, опричники поганые, – ревниво думалось ему. – Шкуру спустят с живого, не то что деньжат на коровенку выделяют. А я-то, дурак, поперся, нашел у кого просить. Не-эт, молчи в тряпочку да сам кумекай, как из беды выкарабкаться...»

С тех самых пор он как бы позабыл о своей звезде героя, потому и дома отнекивался. Но мысль об опричнине, как об особого рода службе, засела глубоко, и время от времени он возвращался к ней, прилаживая к происходящему вокруг, когда дело касалось поведения представителей власти в той или иной ситуации.

– Да какой я герой, дочка? – отвечал наседавшей со своими вопросами Любе. – На фронте были герои и похлеще меня. Я хоть живой остался, а те в земле лежат, да еще и в чужой. Стыдно мне медальками-то трясти...

– Но это же не медалька, это же звезда Героя Советского Союза!

– Ну так что ж?.. Не медалька и не орден – звездочка, – пробовал отшутиться.

– Нельзя так, папа, я ведь тоже хочу тобой гордиться.

– Ну и гордись, тока про себя.

– Скромник наш отец-то, – поджимая сухие губы, выворачивала из кути Татьяна. – Лучше других хочет быть, а вот об вас не думат. И вам бы полегче было устроиться в жизни...

Поворачивался к супруге, чтобы сказать привычное «смолкни», но махал рукой и уходил во двор.

Разговоры в кузне вели разные, сворачивая то на войну и заведенные в соседних странах порядки, какие успел разглядеть солдат, то о ценах на продукты и товары, то об умершем на днях ветеране. Были здесь свои политики, книгочеи, острословы. Всякий нес сюда нечто ему близкое, что берег про себя, с чем, кажется, расстаться – утратить невосвратно потаенное, сообщающее жизни особую направленность и неколебимость.

Забросает Степан Афанасьич угольями железяку, приоткроет заслонку вентилятора и слегка приобернется к поселковым, будто показывая всем своим видом, что может пару лишних минут уделить разговору. Момент сей мужики улавливают незамедлительно, отлично понимая, что он все сказанное слышал и можно узнать его мнение.

– А ты, Афанасьич, как думать: вот ежели поставить во главе государства женщину, то как тебе это?

– Не твою ли Фроську али вот его Клавдию? – кивал в сторону соседа того, кто спрашивал.

– Скажешь тоже...

– А чего спрашивать о знаемом? Женщина – для женского. Государственное же дело – дело мужское. Вот как Бог Отец.

– И впрямь, – изумлялись мужики. – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Вся Троица – мужского роду.

– Вот то-то и оно, – скажет Афанасьич и вынет щипцами раскаленную до бела железяку, чтобы перенести к пневматическому молоту. Ухает молот, а кузнец умело переворачивает железяку, и глядь – выходит нечто. Потом снова в огонь и уже на наковальню.

И не потому, что Белов самый умный, а потому, что уважают и считаются с его мнением. И должен быть таковский мужик в их среде, чтобы уважать, иначе все попусту: и происходящее в поселке, районе, стране, и сама жизнь их, что протекает изо дня в день по кругу – дом, работа, одни и те же лица, праздники, которых ждут исключительно по одной причине: можно, никого не спрашиваясь и не боясь, расслабиться. И очень хорошо, что между домом, работой и праздниками есть кузня.

Хорошо и Белову. Степан уже в том возрасте, когда за плечами война, женитьба, уважение на производстве, когда произведенные в молодости дети начинают вылетать из родительского гнезда.

После того случая с деньгами в кринке будто обмер душой, перенеся всю свою любовь на дочь Любашу. Десятилетней соплячкой напросилась с отцом на кедровый промысел, и вел он ее вдоль ручья Айса в именную таежку, намеренно выбирая такие тропы, где в запасниках присаянской природы веками сберегалась нетронутая красота. А когда через неделю запросилась домой – не пожалел времени, отвел теми же местами, чтобы сердечко детское закрепило нетленные картины таежного мира, к которому сам питал чувство наподобие того, какое пчела питает к цветку.

Любаша, казалось, забыла, куда идет с отцом, перебегая от одного дерева к другому или наклоняясь к кустикам перезревшей голубики. А когда набрали на брусничники, наклонилась, некоторое время смотрела широко открытыми глазами и вдруг радостно закричала:

– Папа! Грусника!

– Ах, ты моя дорогая грусника... – подошел к ней Степан, обнял, прижал к себе.

– Грусника, грусника, грусника, – повторяла весь оставшийся до дома путь.

Так и стал он называть ее ласково Грусницей.

Три дня потерял, и надо было спешить – снег в Присаянье выпадает числа двадцатого сентября и уже не стает до конца апреля следующего года. В тех тайгах, где был чистый от разнотравья пол, бил шишку по ночам. Под утро ложился и спал часа три-четыре. Затем вставал, наскоро завтракал и шел собирать ту, что сбил ночью. И впрягался в обычную дневную работу.

По ночам древесным колоколом далеко окрест катились удары его колота, достигая ушей сидящих при лампах за картами промысловиков из дальних таежек.

– Вот лешак, – мотали головами. – Деньгу лопатой хочет огребать. Надсадится...

Тот год для Степана был памятен заработком. Ни копейки не отдал жене, а отвез в райцентр, положил на долгое сбережение в государственную кассу.

Не снимал их и в годы Любиной учебы в мединституте, прикладывая помаленьку от всякого левого заработка, потому как знал, что рано или поздно, однако потребуется детям серьезная помощь родителей – в постройке ли собственного дома, в покупке ли квартиры в Иркутске. А бил шишку он двадцать семь сезонов подряд – с самого своего возвращения с войны. Добытое поселковые сдавали в промхозовский приемный пункт, оставляя себе самую малость. И надо сказать, шибко выручал народишко батюшка-кедр. Особенно после войны, когда меняли орех на ситец, нитки, сахар, муку. Продавать на райцентровском базаре тогда и моды не было, да и не дали бы местные власти.

Любил оставить орешка в карманах для ребятни, одаривая каждого по горсти, а горсть его – почти со стакан. Всыплет одному – другой ладошки подставляет. И другому. Бегают ребяткишки, пощелкивают, только мать ворчит, беспокоясь, чтобы не бросали шелуху на пол.

Когда после отоваривания в доме появлялся сахар, то было для семьи настоящим праздником. Усаживались за стол, и Степан, забирая в ладонь какую по возможности побольше

кусьмину, не торопясь разбивал ее тыльной стороной ножа. Сахар кололся по-разному, но каждому доставался свой кусочек. Клал против каждого, приговаривая:

– Это – тебе коровка. А это – тебе...

– А теленочка? – просили ребятишки, зная, что в отцовской ладошке остались еще и самые маленькие кусочки. Распределял и их.

Потом дети стали вырастать, отчуждаясь от родителей все больше и больше. Люся уехала, устроила жизнь на стороне. Санька женился и стал пить. Вовка пристал к выселковскому отшельнику Даниле; оставалась Люба, Любаша, Любашенька – его Грусника, превратившаяся в рослую красивую девушку. На лице – румянец на обе щеки, за плечами темная коса, высокая грудь, а походка – век бы любовался.

Первых каникул дочери Степан ожидал с особым нетерпением. Возвращаясь с работы, набрасывался на домашнее хозяйство. А в хозяйстве Беловых была пара коров, пара телков да две-три свиньи.

Не сбавила проворства и Татьяна, с которой они жили, довольствуясь немногими словами, какие пригодны для ведения совместного хозяйства.

«Что толку переучивать бабу? – рассуждал иной раз. – Баба – она баба и есть».

И – сплевывал сердито, не находя более ничего, что тут еще прибавить.

И дождался. Вышел навстречу и даже как-то смешался. И вроде как бы слеза начала пробиваться из краешков глаз. И Татьяна запричитала, заохала, забормотала свое «Ой, люшеньки...»

В минуту эту, где-то в глубине истосковавшегося по дочери сердца, он даже как бы порадовался, что жена вместе с ним и разделяет его радость. Что они – семья и радость их – на всех поровну. Что так оно и должно быть у людей. Он даже устыдился своего отчуждения к Татьяне и сделал шаг к обнимающимся дочери и матери, чтобы так же обнять, но махнул рукой, взял Любин чемоданчишко и побрел к дому – одиноко и отчужденно, перемогая в своем сердце горечь привыкшего к одиночеству человека.

Вечером разомлевшая за чаем супруга говорила дочери, не зная, что он рядом, в спаленке, и все слышит:

– Терплю его, супостата, через силу терплю. Сижу пред тобой в стареньком платьишке, потому как другого у меня нет, а деньжонки-то, что для вас берегала, – все пустили по ветру. Нашел вить он их, супостат...

– Почему, мама, супостат? Супостат – ведь это враг?

– Враг и есть. Ненавижу ево.

– За что же?

– Простодырый больно. Вот брательник евонный Данилка, тот мимо себя ниче не пропустит. Энтот же – все задарма, все задарма. Он даже рупь не возьмет за каку-нибудь щеколду на ворота. Всех в поселке обдeldыват за просто так. А они дураку старому: «Степаныч, то, Степаныч, се...» Тьфу на нево. Смотреть тошно...

– Так зачем же замуж пошла на папу?

– Я вить, доченька, када он на побывку с фронта пришел, ниче, окромя ево звездочки, не видела. «Вот, – думала, – с им-то мы и заживе-ом...» А он? Он даже своей звездочки, кровью добытой, стеснятся. Я было хотела сама в поссовет пойти, льготу какую ему попросить, да вить захлестнет, вражина. Боюсь ево.

Странное дело, слушал он откровения супруги, а злобы к ней не чувствовал. Будто сказанное слышал много раз. И ведь – слышал. Она все это пересказывала молча и не раз. В том, как поступала вопреки его желанию. В том, как поворачивалась, как отвечала, когда спрашивал. В том, как воспитывала детей, – ему-то было недосуг. Работал, ковал копейку, в дом нес. И ведь не хуже людей живут. И он не пьяница какой-нибудь, не бабник, не растяпа. С платьишками этими. Уж сколько раз говорил: купи себе что душа желает, не скупись и не

юродствуи. Жизнь у нас одна, и надо в ней быть тем, кем хотелось бы. Оденься, как люди. Пойди в клуб. На праздник на какой. К себе пригласи – встретить с приветом, попотчуй людей, порадуи и порадуйся сама.

– Э-эх, – выдохнул, забывшись, что его услышат.

– Ой, люшеньки, – засуетилась Татьяна, – я ж корову должна доить...

Люба метнулась к нему в спальню, прильнула к плечу, зашептала, как бывало в детстве:

– Папа, дорогой, ты все слышал? Не обращай внимания. Она это так, сгоряча. Любит она тебя, любит по-своему. И я вас обоих люблю, ведь вы – родители мои: ты и мама... Самые-самые...

– Не волнуйся, Грусникаты моя ненаглядная, – гладил ее волосы Степан. – Я знаю: она – твоя мама и любит тебя. Я – твой отец и тоже тебя люблю. А в чем моя вина и в чем вина твоей мамы, я знаю. Но не переделывать меня, как не переделывать твою маму.

Любаша тихо плакала, а он гладил и гладил ее волосы и что-то еще говорил, что для отца и дочери имело самое главное на свете значение.

– Пойди к маме, Любаша, успокой, сговори ее завтра пойти в магазин, выбери ей самое красивое платье – что душа ее пожелат. Ты – можешь, тебя она послушат. Иди, – подтолкнул. – И обе возвращайтесь в дом – я вить седни еще за столом не сидел. Выпить хочу за твой приезд. Рассказ твой хочу послушать о твоей иркутской жизни...

Люба убежала, а Степан пошел к буфету.

Пока не пришли женщины, налил себе рюмку, потом другую, третью...

Когда в дверях показалась Люба, а за ней Татьяна, он уже сидел с гармонью и пел любимую еще с фронта песню про синий платочек. Сидел в выходном темном костюме, на котором были прикреплены все его ордена, медали и свеху – звезда героя войны.

...Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

Расслабленный выпитым, Степан хотел одного – мира в своем доме. Хотел так сильно, как никогда не хотел. Чтобы доченьке его, его Груснике, в родном доме было хорошо. Чтобы рвалась душа ее домой. Чтобы торопилась к своим родителям.

А он надсадился, надсадился от многолетнего напряжения. Душа надсадилась. Много лет лечила его душу тайга. Но и тайга, видно, надсадилась, потому как в последние год-полтора и там, среди кедровых боров, среди ягодников, в небесной чистоте воды ручья Айса, у костра, над которым исходит паром котелок с кипятком, не мог избавиться от терзающего душу раздражения при одной мысли, что скоро надо будет возвращаться туда, где ему плохо, – в родной дом. Эта мысль жгла, никуда не деваясь даже во сне, потому что утром он просыпался с нею же.

...Строчи, пулеметчик, за синий платочек,
Что был для меня дорогим.

Женщины как вошли в дом, так и остались стоять у порога – так, видно, поразил их непривычный вид мужа и отца.

Степан поднялся с табурета, отставил гармонь, встал, выпрямился, будто в строю, и они так же замерли на своих местах, так же повернувшись к нему. И тут же открылась дверь и в дом вошел Володька, за которым показалась голова младшего, Витьки. И они тоже встали рядом с женщинами, ничего еще не понимая, но в широко открытых глазах их светилась гордость за отца.

Потом сидели за столом, а мать несла из кути все, что получше и повкуснее. И оказалось вдруг, открылось вдруг, что она загодя готовилась к встрече дочери. Что у нее наготовлено все, что любит муж и любят дети.

И она, так же, как и Степан, насадила. И нет сил более терпеть ту надсаду. И ей надобно человеческого. Им же делить нечего – разве детей разделишь? Разве прожитые вместе годы разделишь? Эти вот годы – мои, а эти, мол, – твои?

Разделить можно только вместе нажитое имущество, да и то в каждой вещи, до которой касалась рука другого, остается некий незримый след, – вроде огневой печати, о которую всякий раз будешь обжигать душу.

* * *

Появление в Ануфриеве гостей, к тому же выпрашивающих о золотишке, было первым сигналом к тому, чтобы приготовиться, – к Даниле на выселки они должны заявиться непременно и скорей всего в воскресенье. Он это чуял, так как в поселке обошли всех, оставался он один. Его-то они и оставляли на завершение обхода, хотя могли бы посетить первым. То есть, как понимал Данила, он должен был в их изысканиях как бы поставить точку. В нем, ежели предположения Данилы верные, они видят и главного знатока таежных глухо-маней, что в общем-то соответствует действительности. С Данилой мог соперничать только Воробей, но старик давно потерял нюх промысловика, да и в ранешные времена, когда был в силе, больше всего думал о том, как бы добыть лишнего соболька или какого другого зверя. То, что приезжие не появились у него на выселках ранее, лишь усилило подозрения Данилы о возможной связи ануфриевской трагедии с появлением «еологов». И появятся не одни – для пущей важности, скорей всего, сговорят кого-нибудь из местного леспромхозовского начальства или же поселковой власти. Так им проще будет вести с Данилой разговор, хотя, как понимал, может, это только его личные фантазии – слишком долго он жил думами о наложенном на него заклятии родителя. А в общем-то хорошо, что не появились ранее, будто дали ему время, чтобы успокоиться и привести в порядок мысли.

Если заглянуть в глубь его потаенных дум и намерений, то и на родовых выселках Данила поселился неслучайно. Тяжело ему было здесь поселиться и одновременно легко. Тяжело, потому что все напоминало о прошлой трагедии; легко, потому что здесь витал дух его единокровных сродственников и на выселках он постоянно чувствовал как бы их незримую защиту. Потому никогда не сторожился, не запирался на засовы и задвижки. Двери дома Данилы были открыты всякому, кто бы то ни был.

Нельзя сказать и то, что поселился он здесь перед войной на готовое. Дом от времени нижним венцом ушел в землю, обветшал крышей, погнил оконцами, осыпался внутренней немудреной отделкой. Все это надо было привести в надлежащий вид, дабы жилье наполнилось жилым духом, дабы отвечало элементарным запросам нового хозяина – в уюте, тепле, обстановке. И все лето вкладывал Данила в жилище свои тогда еще немалые молодые силы: поднял дом, заменил нижний венец, перекрыл крышу, заказал столяру Кольке Кудрявцеву рамы, поменял скособочившиеся двери, что вели в сени и дом, наново изнутри промазал межбрусные швы, трижды обелил стены и потолок, особую заботу проявил к старой глинобитной печи – так же от времени осыпавшейся углами, будто вылинявшая, как старая, износившаяся, но любимая хозяином рубаха.

В последующие годы претерпели обновление и все другие постройки. Усадьбу Данила обнес крепким заплотом, поставил ворота, подремонтировал навес, где ныне обитал Гнедой и собаки, подладил стайчку. Двор застелил досками.

Все почти пять лет войны усадьба простояла с заколоченными дверями и окнами. И когда вернулся, потребовалась лишь розовая побелка, и жилище его заиграло всеми лучами

заглянувшего в освобожденные окна декабрьского ослепительного солнца. Не появляясь в поселке, через пару дней ушел в тайгу – лечить, как потом говорил любопытным, душу от фронтовой скверны.

Утром Воробей засобирался в поселок, хозяин не удерживал, вышел проводить.

Дождавшись, пока приятель скроется за поворотом, пошел в сарай, где не бывал годами и где на всякой, пригодной в крестьянском хозяйстве, всячине лежала вековая пыль. А были здесь старые лошадиные дуги, тележные колеса, приспособления для столярного дела, какие-то колоды, сверху свисали ботала, что привязывали к шеям скотины, чтобы не потерялась. Все это добро от времени покрылось толстым слоем пыли, скукожилось, закаменело или, наоборот, превратилось в труху. Все это прикапывал добрый хозяин, каким был дед его Ануфрий Захарович.

Данила окинул сарай взглядом, задумался и почувствовал, как сердце захватывает сосущая, будто болотная трясина, печаль, чего не испытывал раньше, но привелось испытать теперь. Понимал он и то, что печаль эта неспроста, а как предвестник чего-то большого, заглавного, что может перевернуть всю его устоявшуюся жизнь. И он готов к тому. Он жил для того. Это большое и заглавное вот-вот взбаламутит отстоявшуюся воду его похожих друг на дружку дней, месяцев, лет, закрутит в водовороте и бросит на самое дно, чтобы с силой вытолкнуть наверх, но только для того, чтобы он успел хватить воздуха. Так было на фронте и так будет сейчас. Так будет повторяться много раз, и чем все это закончится – никто не скажет. Данила понимал, что начинается иная, полная тревог и волнений жизнь. Жизнь, какой не жилал прежде, но каковую жаждал.

С внутренним трепетом вынул Данила из дальней стены нечто вроде клина, запустил в расщелину руку и нащупал сверток. Возвратил клин на место.

В доме на столе развернул – то оказался винтовочный обрез и с десятков патронов к нему; все это, видно, осталось со времен Гражданской войны, а может, и от деда его Ануфрия. Данила старательно обтер масло. Освободив стол, поставил его на бок. Из тумбочки достал сыромятный ремешок, молоток и сапожные гвоздики. Ремешок поделил на две равные половины, разрезал. Затем приложил обрез и примерил ремешки. Прибил их гвоздиками. Вернул стол в прежнее положение. Не торопясь, сунул руку под крышку, вынул обрез, зарядил, отправив на прежнее место. Оставшиеся патроны положил в передвинутую ближе к столу тумбочку. Стол застелил скатертью, поверх – клеенкой.

Пошел в куть, налил чаю в потемневшую от постоянного пользования эмалированную кружку. Сел к столу. Поглядывая в окошко, не спеша отхлебывал настоявшийся напиток.

Приготовления закончились, и, по его расчетам, гости должны были вот-вот появиться, так как время шло к обеду, а им надо было еще добратся до райцентра – Данила Белов был последним, с кем предстояло встретиться «еологам».

Подъехала машина, из которой вышли трое: в одном из прибывших Данила разглядел председателя поселкового совета Николая Холюченко.

«Так и есть, – подумалось. – Одни ехать не рискнули».

И еще подумалось: «Охота началась».

– Давненько не видел я у себя гостей, – стоя на крылечке, изображал из себя радушного хозяина Данила. – Ты, Николай Васильич, дак вопче забыл выселковского отшельника, а власть местная должна бы заботиться о своих гражданах, я вить еще и ветеран войны.

– Знаю-знаю, Данила Афанасьич, ты у нас ветеран заслуженный, да и промысловик, каких поискать. Тайгу знаешь, как никто другой. Кстати, почему не бываешь в День Победы у памятника? Мы у себя в поссовете даже не знаем, какие награды имеешь и за что награжден...

– Что до наград, я и счас могу показать...

– Вот и покажешь...

– А что до внимания, то за это советской власти мое особое спасибо, хоть я в нем особенно не нуждаюсь, – не слушая председателя, продолжил о своем Данила. – Пока есть тайга и в ней зверье и пока двигаются ноги и руки, я буду с куском хлеба. А больше мне и не требуется.

– Кстати, тайга ведь не только звери, ягода да кедровый орех, наши присаянские глухомани еще богаты разными ископаемыми. Вот и товарищи из геологической партии приехали порасспрашивать население, кто что знает. В поселке уж всех старожилов обошли, ты – последний.

– А че я? – развел руками Данила. – Я готов всей душой служить, тока подскажите, кака от меня требуется помощь... Заходите в дом, за чаем и потолкуем.

Переговаривался с председателем, в то же время приглядываясь к чужакам.

Приезжие выглядели геологами: утепленные сапоги, какие выдавали и в леспромхозе, штормовки. Сверху – меховые куртки с суконным верхом, на головах – вязанные шапочки. И все бы ничего, но обращало на себя внимание то, что все это было новое – купленное или выданное накануне поездки. На поясах Данила заметил охотничьи ножи, вполне возможно, что в машине имелись ружья или карабины.

«Приоделись для виду иль в тайгу собирались? – размышлял Данила. – Хотя каки счас ископаемые – снег по пояс. Скорей для виду».

Один – благообразный, с черной клинышкой бородкой, лицом смугл, смотрел спокойно и властно прямо в глаза собеседника. Другой – светловолос, лицо не брито с неделю. И повыше ростом первого. Так же спокоен и улыбчив. На вид простоват. Но простоватость в движениях, в глазах так же проглядывалась привычка стоять над людьми. Оба возраста примерно одинакового, годов по сорок – сорок пять.

Приставил лавку к столу, сбоку – табуретку, на которую усадил представителя местной власти. Усадил предусмотрительно, дабы лучше разглядеть приезжих. Принес из кути горячий чайник, посуду. Тут же порезал сало, лосятину, из сеней – мороженой брусники, магазинских пряников, к пряникам добавил конфет. Налил чаю, сел сам.

Смуглолицего Холюченко представил Иннокентием Федоровичем Ивановым, светловолосого – Петром Игнатьевичем Ковалевым. Оба наклонили головы.

– Ну, гости дорогие, сказывайте, кака нужда привела ко мне? – пригласил к разговору приезжих.

– Мы, уважаемый Данила Афанасьич, вроде как для предварительной разведки приехали, – начал глуховатым голосом светловолосый. – Стране нужен драгметалл, а в ваших краях, по нашим сведениям, старатели в давние времена мыли золотишко. Месторождение это не было разведано, а может, его и вовсе нет. Вы, Данила Афанасьич, не слышали о таком? И где, предположительно, может оно находиться?

Данила понимал, что каждое слово его будет взвешено и выверено, поэтому лучше всего продолжать изображать из себя радушного хозяина.

– Мне, паря, кажный новый человек дорог. Сижу здесь, никого не вижу. Поселковые новости дед Евсеич пересказал, что был до вас. А вот вы – люди городские, с вами покалякать я с большим моим удовольствием. Потому давайте по порядку: сначала – чай, потом – дело.

– Да уезжать им надо, Афанасьич. Почти неделю здесь... – вклинился в разговор Холюченко.

– Ниче, больше мимо моей хаты ходили, пускай потерпят. А задерживать их я не собираюсь, но чаю-то попить нада? Нада. Может, и самогоночки плеснуть? А?..

И сделал движение, будто собрался идти в кузь.

– Самогон хорошо пить, когда дело сделано, Данила Афанасьич. Мы же еще и слова не сказали о деле, – сказал, как рукой остановил, отчего Данила даже задержался на том месте, где застал его голос смуглолицего.

Голос тонкий, высокий, что никак не вязалось с внешностью и повадками говорившего. «Этот у них за главного», – определилось в мозгу.

– Коли уж приехали говорить о сурьезном деле, так не гоните телегу впереди лошади. Какой-нибудь час вас не устроит: посидим, поговорим, может, че и придумаю. А я б немного выпил, – ухмыльнулся хозяин, глядя со спокойным вызовом в лицо смуглолицего. – Вчера с Евсеичем ладно посидели...

– И я бы поддержал компанию, – неожиданно вставил слово Холюченко, который, видимо, почувствовал настроение хозяина. – У нас, сибиряков, выпивка бывает и на зачин, и на обмывку. Не будем нарушать традицию...

– Вот-вот, правильно рассуждать, Васильич. Дорогие гости, как я понимаю, не нашей простой кости, – слукавил Данила, все с той же ухмылкой оглядывая приезжих, будто хотел сказать, мол, что на это ответите?

– Не из ваших мест – это верно, иначе бы не ходили по дворам, – отозвался светловолосый. – Но это дела не меняет. Страна у нас одна...

– Что верно, то верно. Простите, ежели че лишнее ляпнул. А то мы всяких тут видали. И партии стояли, и шишковать наезжают. Разнарядятся, обвешаются карабинами, рюкзаки за плечами – еле тащут, а зайдут в тайгу, так от них пакость одна. Живой кедрач валят, на деревьях делают затеси, банки бросают, пьют. Ореха добудут с гульки хрен, а шуму от них, будто танковая бригада прошла.

– На сей счет просим не беспокоиться, мы свое место знаем, – глянул как бы снизу вверх смуглолицый. – И выпить не прочь, если уж того требует ваш порядок.

«Ага, – отметил Данила. – Дипломатию мою приняли. А то о деле им подавай – сейчас, разбежались. Поглядим, че дальше будет, по-огляди-им...»

Отправился в куть, возвратился с четвертью и рюмками. Налил.

– Ножички, я вижу, у вас знатные, зверовать не приходилось? Иль так, для баловства? – кивнул на пояса гостей.

– Нож при себе иметь – привычка, в тайге – первый помощник...

– Что верно, то верно. Может, дозволите глянуть? Добрый ножичек стоит хорошего ружьишка...

При первом взгляде на тот, что подал смуглый, Данила вздрогнул: на рукояти был виден приметный знак в виде птицы или креста. Само лезвие было чуть длиннее обычного и к концу расширялось. Рукоять со временем пообтерлась, обозначив структуру дерева, из которого была сделана.

«Он, – внутренне сжавшись, подумал Данила. – Все сходится: и знак, и лиственничный корень. Он...»

Чтобы не выдать бушевавших в нем чувств и как-то успокоиться, Данила намеренно стал дольше, чем стоило, разглядывать нож другого приезжего – светловолосого. Этот был побогаче – наборной рукоятью, насечкой на лезвии. И Данила стал нахваливать именно этот, что вызвало у смуглолицего мимолетную улыбку. Улыбка была Данилой замечена.

«Ага, – подумал он. – Цену ножичку ты, канешна, знашь. Знашь, видно, и откелева он...»

– А я б купил у вас, уважаемый, ножичек-то. Случаем, не продадите? – обратился к светловолосому.

– Чего ж там продавать, я вам его дарю, – отозвался тот поспешно.

– Ну, спасибо, от всего сердца спасибо тебе, Петр...

– Игнатьевич.

– Петр Игнатьич... Уважил отшельника. А вот за это я бы попросил всех выпить.

Снова налил. И все дружно выпили. Разговор пошел свободнее, вывернул на давнюю ануфриевскую историю.

– Может, здесь че и было, – как близким приятелям, говорил Данила. – Но кто ж это видел? Отец мой слишком мал был, в печи сидел и, как сказывал потом: када вылез из печи, то в доме никого уж не было – ни из семейства, ни пришлецов. Со страху-то и пустился наутек в тайгу и долгонько блуждал, пока не вышел к жилью. Мотался по чужим людям, а кто он и что он – помнил слабо.

– Сколько же он там сидел, в печи? Что ж, печь-то, выходит, не топили?

– Дак лето ж, видно, было, хотя в точности я и не знаю. Но вить ежели, предположим, порассуждать: отец долго блудил по тайге, а при наших снегах и морозах много не наблудишь. Значица, было лето. Да и вопче, како это счас имет значение?

Данила говорил как человек поживший и убежденный в том, что говорил. И он мог произвести впечатление, когда того желал. В самом деле, толковал Данила, трагедия, если она и случилась, то случилась в стародавние времена – то ли в конце девятнадцатого века, то ли в начале двадцатого. Потом были революции, Гражданская война. Были коллективизация, голод начала тридцатых. Наконец, война Отечественная. Предполагать что-то сейчас, ворошить прошлое, когда на дворе начало восьмидесятых, когда ушли в небытие целые поколения, вряд ли разумно, да и какой с того прок? Уж сорок с лишним лет прошло, как почил родитель. И рассказывал-то он о том, что сам плохо помнил...

Данила говорил с азартом, успевая при этом наливать и приглашать сидящих за столом выпить. И все выпивали, правда, не по полной рюмке. И – слушали: Холюченко – с неподдельным интересом, приезжие – с видимым доверием. Видел Данила, как они размякают, как по-хозяйски располагаются на лавке, как с удовольствием уплетают его угощение, к которому он прибавил строганину – мороженую печень сохатого.

Пьянел и он, хотя и сохранял ясность ума.

«Наглеете, гады, – разжигал себя внутренней злобой. – Не понимаете, где находитесь и чья кровь здесь пролита. Может, и на гармошке вам поиграть? А че? Я могу-у...»

– И ваш отец ничего не знал о золоте и где его мыли? – это сорвалось с языка светло-волосого.

– Ну уж, паря, этого он точно не знал... И разговору о том не было. Он и вопче-то был как бы даже уверен, что никакого золота нет. А семейство загубили обычные бандюки – за тряпку за каку, за мелочь, за бутыль самогону. Такое случалось во всякие года. Народишко этот поганый не переделать.

«Вот вам, гады, так-то я вас...»

– А вы, Данила Афанасьевич... не знаете?..

«Для этого вопроса вы сюды и пожаловали...» – подумалось, а вслух сказал:

– Ни меня, ни других промысловиков золото не антиресовало. Его вить ни сбыть, ни продать. Но я кумекаю так: золотишко – может быть... Нада тока хорошенько посмотреть, да и знать нада, где смотреть...

– А вы... знаете?

– Сказать наверняка, что знаю, я бы не отважился. А вот предположительно...

– Нас туда сведете?

– Это нада смотреть, как снег сойдет. В мае, к примеру. Свою, ежели жив буду. В опчем, где-нибудь в двадцатых числах, как отсадимся в огороде.

* * *

Наступала ночь, и мороз крепчал, будто теряющая силу зима старалась вернуть утраченные за минувший день позиции. Но приходил день новый, и все больше темнел, обглоданный мартовскими лучами, снег, а на краях крыш, чуть ли не до самой земли, нарастали плачущие капелью сосульки.

Теплые дневные часы Данила проводил на свежем воздухе. По выложенному досками чистому двору солнечные лучи прошлись, будто метлой, и ближе к обеду от досок начинал исходить легкий, едва видимый глазу, пар.

Это время года Данила любил. Одевшись потеплее и вместе с тем легко, он приводил в порядок все свое охотничье снаряжение: если требовалось, что-то перестирывал, развешивал во дворе на дня два-три, затем досушивал в доме. Для проветривания тут же вывешивал то, что стирки не требовало, – палатку, рюкзак, рогожные мешки. С давних пор следовал он заведенному порядку, справедливо полагая, что, напитавшись весенними запахами, промысловая «омуниция» его будет долго хранить свежесть, а чистоту тела, жилища, двора, зимовья, как мы отмечали ранее, Данила ставил на первое место.

Сюда же, во двор, выносил небольшой стол, что обитался в сених, начинал приводить в порядок оружие: разбирал, чистил, смазывал. В личном арсенале его имелись одностволка, двустволка, мелкокалиберная винтовка и карабин. Вечерами, при свете лампы, так же неторопливо, с великим прилежанием занимался патронами, кои никогда не отсыревали, не ржавели, а в нужную минуту не давали осечки.

Приводил в порядок и ножи, которых у него было несколько штук, хотя на охоте пользовался одним: точил, заправлял на мелком бруске, затем доводил на кожаном ремне, слегка протирал машинным маслом и отправлял в ножны.

Всю эту работу Данила любил, как любил и то дело своей жизни, которым занимался смолоду, – охотничий промысел.

В первой половине апреля побывал у Степана в Ануфриеве, где отозвал в сторону племянника Володьку и наказал быть готовым в Первомайские праздники сходить с ним на участок. От брата заглянул в хибару Воробья. В полумраке жилья разглядел старого приятеля – тот сидел за заваленным всякой всячиной столом и что-то ел.

Данила брезгливо оглядел внутреннюю обстановку хибары: жилье давно не белено, вместо печи – лежащая на боку железная бочка, с вырезанным с торца и заставленным жестяным листом, квадратным отверстием для дров, около маленького окошка – лежанка, рядом стол да две-три расшатанные от времени табуретки.

Старик его не видел. Топтался по избушке.

– Та-ак... Иде ж рубаха – язви ее в душу? – вопрошал сам себя. – Вот она. Лежит комком. Нет чтоб на своем месте, дак валяться под табуреткой...

Держал пред собой рубаху, непонятно для чего разглядывая.

– Ах ты, старенькая моя, – продолжал ласково. – В клеточку. Сколь же я тебя поносил?... Годков двадцать, а то и боле, и все – целехонькая, все – целехонькая... От... и – до...

Данила в своем углу наблюдал за Воробьем с улыбкой, дожидаясь, пока тот его заметит. Старик не замечал, внимательным образом разглядывая на этот раз свои босые ноги с черными ногтями на пальцах, которые давно изогнулись и вросли в мякоть тела.

– Куды ж портянки-то подевались? А, шут с имя, так воздену – не привыкать. Бывалочи, в тайге не до портянок было. Сунешь босые ноги в ичиги и – ходу. А то, бывалочи, травки какой в ичиги-то... К вечеру тока и очухашьси. Ноженьки вынешь, к костерку протянешь и подсушишь. И снова сунешь. Так сезон и пробегать...

Данила ворохнулся на своем месте в углу, старик наконец его заметил.

– Афанасьич, дружка мой разлюбезнай, че ж ты стоишь тамако, проходи ближе к столу.

– Гнездо-то у тебя, Евсеич, никудышное... – сделал по направлению к старику шага два.

– Никудышное, никудышное... – радостно соглашался Воробей.

– Чего ж ты радуешься, ежели никудышное? – усмехнулся по своему обыкновению Данила.

– И радуюсь, и печалюсь одному – тебя узрел в своих хворомах... От... и – до...

– Ну, обрадовался – это ладно, а печаль-то с чего?

– А радость, Афанасьич, завсегда рядышком с печалью ходит, вот и печалюсь...

– Мудрено, паря. Ну да ладно.

Старик суетился, подсакивал на месте, руки подталкивали к Белову табуретку.

– Садись, не брезгуй старого промысловика. Счас чаю сгоношу.

– Не нада чаю, пил тока что у Степана.

– А здря. Чай у меня охотничий, по старинному рецепту...

– Да сядь ты, черт старый, – остудил рвение Воробья. – По делу я.

– И энтому я рад, Афанасьич. Када дело, то и печаль отступат. Слухаю тебя. Сказывай...

– Ты еще не забыл о недавнем приезде ср...х геологов? Так прав ты был: никаки они не геологи.

– Дак я ж... тебе ж... сразу ж...

– Действительно, тока один ты и докумекал – сразу видно старого охотника, – решил польстить старику. – Но говор говором, а на одежду их ты не обратил внимания? Одежа-то новая. Специально приоделись, дабы сбить с толку, чтоб их за геологов приняли. Но и это не все. У одного из них, у чернявого, я нож приметил за поясом. Попросил поглядеть. И че ж ты думать? Нож-то оказался моего убиенного деда Ануфрия Захаровича!

– Батюшки! – ахнул Воробей. – Вот тебе и печаль. И как же ты признал ножик-то?

– По рукояти из лиственничного корня и по особому знаку, что вырезан на ней. Об этом мне сказывал на смертном одре отец мой, Афанасий Ануфриевич. «Ножик, – сказывал он, – ты признашь по рукояти и по особому знаку на ней в виде птицы ли, креста ли...»

– И ты их, варнаков, живыми выпустил? – вскочил Воробей. – Да я б их, я б...

– Ишь ты, сразу и убивать... Для начала, паря, нада бы узнать, откуда у них ножичек-то. Может, случайно как попал. К тому ж с ними приезжал председатель поссовета Холюченко. Пришлось стерпеть. Но это ниче. В двадцатых числах мая они ко мне подъедут – обещал я свести их в места, где, возможно, есть золотишко. В огнем, ниче определенного я им не сказал. Заманить чтоб. По этому делу я к тебе и зашел. Подстрахуешь меня? Приходи при полной омуниции двадцатого числа. Поживешь денька два-три, пока те не нарисуются. Об остальном обговорим у меня. И – помалкивай...

Последнее сказал на всякий случай, прекрасно зная, что для Воробья его, Данилы, доверие – честь особая.

– Стрелять-то не разучился? – спросил уже в дверях.

– Стрелю, еще как стрелю, Афанасьич... От... и – до...

– И – добро.

Тридцатого апреля к вечеру явился на выселки племянник Володька. Долго не рассиживались, повечеряв, легли спать, чтобы с раннего утра отправиться в тайгу.

До зимовья добрались уже в сумерках: растопили печку, сварили чаю, ужинали отваренной заранее холодной сохатиной. Данила говорил племяншу:

– Завтра я покажу тебе весь участок, чтоб знал, откудова че берется. И где ключ тайги, ее житница, ее сердцевина. Покажу тебе и ручей Безымянный, какого ты не видел и не знашь, а это очень антиресный ручеек. Очень ан-ти-рес-ный... Я вить че тебя позвал... Соболевал ты со мной сколь сезонов, а тайги не знашь. Непорядок это. Вот и решил поправить положение. К тому ж ты нонече уезжаешь на учебу, и дело это доброе, тем паче – по охотничьему профилю. Но вить сюды и возвернешься? Так вить?..

– Так, дядя Данила, так... – с живостью отозвался Вовка, готовый в этот момент подтвердить свою заинтересованность чем угодно, хоть, к примеру, влезть на стоящую рядом с зимовьем сосну.

Сидели они за небольшим столом напротив друг друга: Вовка, наклонившись в сторону дядьки, Данила, чуть откинувшись спиной к стене. Огарок свечи высвечивал из полумрака их лица.

– Ты, дорогой племянник, канешна, слышал историю прадеда твоего Ануфрия Захаровича. Слышал, что случилось с его семьей, от коей сберегся лишь малец Афоня, твой дед, и от коего корня приходишь ты сам. Слышал, да не знашь наверняка, че там было и как там было, а я вот – знаю...

Вовка напрягся: он не мог до конца поверить, что дядька, ни с того ни с сего, решил посвятить его в то, о чем он сам нередко думал и в чем сам хотел бы разобраться. Тайна их родовой беловской трагедии, пусть в неравной степени и в разное время, но обсуждалась поселковым народом, что сказывалось на всех членах семьи – в школе, на улице, в магазине. Предполагалось даже, что Беловы, особенно старшие, знают о золотой жиле, но помалкивают – то ли выжидают чего-то, то ли страшатся нарушить тайное заветное предка своего Ануфрия. Находились даже такие, кто утверждал, что в предосеннее время густых туманов, в ранние утренние часы в поселке, то в одном месте, то в другом, проявляется некая мужская фигура. И стоит тот неизвестный человек, опираясь на суковатую палку, будто бы озирая окрестность: то ли что-то примечает для себя, то ли сторожит чегой-то. И будто бы даже собаки в те минуты перестают лаять. А тишина устанавливается такая, какая бывает перед тем, как ударить набат.

Может, и в самом деле что было, ведь шатуны на выселки нагрянули, скорей всего, именно в такое время года – не могли же ануфриевские знать подробностей, известных только Даниле и Степану со слов их умирающего отца Афанасия.

Доходили те разговоры и до Вовки. Не раз и не два приставал он к отцу с вопросами. А что тот мог рассказать?

– Знашь, сынок, ежели было бы золото, то разве за столько-то лет не открылось бы людям? Вот то-то и оно, – отвечал, примерно, одно и то же. – И я так думаю про это про все. Поэтому плюнь и растери. И – забудь. Впереди у тебя своя жись, вот ею и живи.

– Ты, паря, ушлый от природы, – продолжал между тем Данила. – Я это заметил еще тада, када ты под стол пешком ходил. Но ушлый еще не значит умный. Здесь важно пони-ма-ни-е! Понимание того, что будет, ежели вот всю эту благодать, что вокруг нас, кто-то придет и погубит. Важно понимание того, что где золотишко, там и кровь, и злоба, и попираание святынь. Другого не дано. Так было, так есть, так будет всегда, пока стоит на земле род человеческий. А есть ли оно, золотишко, то есть в наших краях, нет ли его – никого не касается.

– А есть оно? – почти шепотом спросил младший Белов.

– Завтра и увидим, – обнадежил Данила. – А счас – спать.

Во владения старшего Белова заходили торенной дорогой, где по левую руку в основном располагались тайги промысловиков кедрового ореха, на которые коопзверопромхоз выписывал договора. Места эти Вовка знал, так как здесь же был участок и его отца Степана Афанасьевича. Затем резко взяли вправо, поднялись на гору и спустились вниз – здесь Вовка уже не хаживал, но и эти места были обжиты промысловиками давно и основательно, на что указывали следы пребывания человека: торенные тропы, затеси на деревьях, установленные на мелкого зверя плашки, попавшие на глаза две-три избушки.

Данила шел молча, не оборачиваясь на племянника. Ни о чем не спрашивал дядьку и Вовка, помня его наставления о том, что всюду, где бы ни ходили, «надо примечать». И – примечал, имея к тому же опыт пребывания в тайге, где с годами он мог ориентироваться не хуже любого бывалого охотника.

Вышли к обширной, будто утыканной кочками, болотине. Здесь Данила приостановился, снял с плеча вещмешок, отставил к коряжине одностволку.

– Горе-промысловики из города и местные сюды не суются, потому как болото здесь тянется на километров тридцать, а то на все пятьдесят – кто ж их мерял, километры-то. Обойти его можно тока со стороны реки, так как болота тянутся по всему берегу и скоро начнет казаться, что, кроме их, ничего здесь нет. Но тока я один знаю, как пройти по болоту напрямую, вот и примечай, где будем идти. Во-он, видишь верхушку елки? До нее будет с полкилометра, а кажется, вроде недалеко. Но даже, ежели, предположим, залезть на дерево, все равно будешь видеть тока верхушку. Растет она на берегу острова – там и будем полдничать. Есть здесь еще один остров, поболее этого раза в два. На том острове сохранились остатки землянок, каких-то построек. Кто там жил во времена давние – бог весть, но пройти и туды можно. Я же сам там почти не бываю – не глянется мне то место.

– Отчего же?

– Знать, не от добра прятались люди в глухомани таежной, да еще и на острове. Нужда, видно, гнала особая, смертная... Я о том много думал, када ходил, глядел, примечал. Ну да ладно. Будет заделье, и туды сходим. Болотина по всему проходу до нашего острова неглубока, так что, дорогой племянник, разворачивай голенища бродил. Вода местами не замерзат и в крещенские морозы, потому как снизу, из земли, бьют теплые ключики, из-за чего рано сходит лед. Воды здесь круглый год одинаково – ни больше и ни меньше.

– А по зимнику разве нельзя пройти на те острова? – спросил племянник об интересовавшем его.

– В том-то и загвоздка, что вокруг островов из недр болотины бьют горячие источники, оттого болотная хлябь не замерзает даже в самые лютые морозы. Потому-то непросто было выкурить староверов с их островов. Да и в нынешнее время никто туды не суется, а то бы давно напакостили. Така, паря, история...

Данила пошел уверенно, как по торенной дороге, Вовка ступил с чувством опаски, но скоро освоился и брел за дядькой между торчащими в обилии кочками, внимательно осматриваясь вокруг себя. Попадались чахлые березки, кое-где – островки ельника, а кое-где и коряжины, что указывало на росший здесь когда-то лес.

Брели не торопясь: вода самое большее доходила до коленок, сапоги не увязали в грунте, и не надо было вытягивать одну ногу за другой. Получалось, как бы переходили вброд реку.

– Может, тысячи, а то и миллионы лет назад здесь было русло небольшой реки, – говорил по ходу Данила. – От реки кое-где остались озерца и в них – кишмя кишит рыба. В большинстве своем бросовая – сорога, елец, щука. Встречаются озерца, где тока один карась. Озерца рассыпаны по всему бывшему руслу.

– Дак че ж елка-то не приближается: идем-идем, а все одна верхушка торчит? – поинтересовался племянник.

– А это загадка природы иль обман зрения. Будто переваливаем через бугор. Елка откроется сразу...

Действительно, минут через пятнадцать ель стала вырастать на глазах, и скоро ступили на твердую землю. Дерево, на которое шли, оказалась внушительных размеров, как в обхвате, так и в высоту. Росло, слегка наклоняясь к болотине. Еще Вовка обратил внимание на длинные, почти как у сосны, ярко-зеленые иголки – видно, тепло земли и достаток влаги давали дереву все нужное для жизни. Сразу же за елью, метрах в пяти, начиналось молодое, густое разнолесье, а за ним – сплошь в паутине огромные, с раскидистыми лапами, взрослые деревья. Вовка шел за Данилой, то и дело обходя или перелезая через застарелые валежины, и не сразу увидел добротное зимовье.

Открывшееся глазам было так удивительно, что он невольно вскрикнул и остановился, будто кто толкнул его в грудь.

Избушка была построена сравнительно недавно, так как бревна еще не успели как следует потемнеть и сохраняли золотистый оттенок. Имелся прируб к ней в виде сенцев. С северной стороны – навес, где в аккуратную поленницу были сложены дрова. Навес огибал избушку и с западной стороны – там, как понял Вовка, было место для лошади. Перед избушкой на вкопанном в землю столбе – стол, рядом – лавка. Рядом же – таган. Здесь же – банька, чуть поодаль – лабаз, под ним – западня ледника.

И, хотя солнце стояло высоко, избушка находилась как бы в тени. Вовка задрал голову и увидел лишь куски голубого майского неба: огромные сосны, лиственницы будто протягивали друг к дружке лапы, закрывая сверху постройку.

– И с вертолета не разглядишь, – вырвалось у младшего Белова. – Надо ж было так устроиться... И что: все один, без помощников? Бревна-то, небось, трудно было таскать?

– Мне помощники без надобности. А бревна можно и на горбе таскать, тока занятие это для дураков. Я ж использовал горб Гнедого, а поднимал кверху и ложил на стены при помощи лебедки. Два лета трудился, зато – кака теперь благодать, а?..

– Когда построил?

– Годов десять назад. И силенка, как ты понимать, еще водилась, да и ныне не поослаб. Пойдем внутрь избушки, там и расположимся.

Внутренне устройство жилища мало напоминало обычное таежное зимовье, и прежде всего своими размерами, сложенной из кирпича небольшой печью, с которой свисали, протянутые до стены и там закрепленные на прибитом бруске, доски. На досках – овчинный тулуп. Лучшего места для обогрева и просто отдыха было трудно придумать. У одной из стен были устроены нары, опять же в виде топчана. Рядом с печью у окошка – кухонный стол. На полках – необходимая посуда, в мешочках и кулечках – крупы, макароны, соль, сахар, в жестяной банке – чай. У другого окошка – еще стол.

– Я, паря, весь припас здесь имею, – обронил наблюдавший за племянником Данила. – Имется подпол, копильня. Свой огородишко на сотки полторы. Впрок – лук, морковь, свекла, редька, картошка. Припас круглогодичный, но, кроме того, и разовый – так, на месячишко... Ну там мясо вяленое, сало, рыбка соленая и копченая и другое.

– На целый месяц?.. – изумился Вовка.

– Может, и боле того. Я вить када веду заготовку лексырья, ореха, делаю обход участка, то проживаю в основном здесь, на острове. А ежели учесть, что в тайге я месяцев девять в году, то и жилье должно соответствовать. Правда, по снегу сюда не хожу. Не суются зимой сюды и посторонние – из-за источников, боятся провалиться. Да и надобности нет. Ко всему прочему здесь я в полной безопасности и скрыт от глаз человеческих. Есть у меня здесь книжки, есть тетрадки, куда записываю сведенья о погоде, о каких-то приметах, вношу данные о численности зверя, копытных, птицы, каки-то свои наблюдения.

Данила показал рукой на стоявший у другого окошка стол.

– Эт мой кабинет, – ухмыльнулся. – Подойди, глянь.

К своему удивлению, младший Белов увидел лежащую с края стола Библию, и видно было по закладкам, что ее читали. Открыл на первой закладке, прочел подчеркнутое:

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся и не служи им ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

– И никто, ни единая живая душа не знает об этом месте?

– Никто, – спокойно отвечал Белов-старший. – Это целиком вотчина беловска.

– Как это?..

– До моей постройки здесь была древняя зимовьюшка, которую, как я понимаю, построил еще мой дед, а твой прадед Ануфрий Захарович. Знал о зимовьюшке и мой отец Афанасий Ануфриевич: сказывал, что мальцом сюды водил его старший брат Гаврила и дорогу он запомнил. А када мне было лет десять, взял с собой и меня – так и я узнал дорогу. Вот и выходит, что это вотчина целиком беловска.

– Но разве не могло быть такого, чтобы знал еще кто-нибудь? Отец, к примеру?..

– Могло, канешна, но тогда бы рано иль поздно кто-нибудь объявился бы. Однако сколь лет прошло, и – никого. И че бы здесь кому делать? Ну да ладно. Перекусим и – дале. К вечеру нада возвернуться в то зимовье.

Помолчал, добавил:

– А брат мой Степан – не знат. Отец наш, Афанасий Ануфриевич, наказал не посвящать его в тайну. У него, сказывал, другой путь.

– Какой же?

– Тайна эта – тяжела, а он – инага замеса, больше в мать нашу, Феклу Семеновну. Добрый...

– Так че ж это за тайна за такая? – не выдержал младший Белов. – Ты, дядя, все вокруг да около, а о деле – ни слова.

– погоди, тебе говорят. Маленько осталось...

Вовка чувствовал, что устал. Не от пройденного – от собственного нетерпения – узнать, наконец, ту заветную тайну, которую свято хранили и прадед Ануфрий, и дед его Афанасий, и дядька Данила.

Есть не хотелось, почти залпом выпил поставленный перед ним чай и вышел из избушки.

Когда племянник вернулся в избушку, Данила сказал ему:

– Ты, паря, думать, я не понимаю твое состояние? Вам, молодым, нада все и – сразу. Это было знакомо и мне, када я был таким, как ты: горячим, хлестким, непоседливым. С годами приходит не ум, а опыт. То есть приводится в порядок тот ум, что даден от природы, и не боле того. Ежели нет ума от природы, то и опыт попусту. Вот как у старого Воробья. Опыта у него на нас двоих хватит, а ума и нетути. Но человек он честный и верный – за это и ценю. У тебя, чую, ум есть. Есть и хватка – наша, беловска. Потому и решаю передать тебе свое знание, кое передано было мне отцом моим и завещано дедом Ануфрием Захаровичем. По родовой линии: отец – сыну, тот – своему сыну, а я – племяннику, так как у меня своего сына нет. Ты мне – заместо сына. Потому и возился с тобой столь годов. Потому – потерпи. Седни все и узнашь.

Кинул через плечо вещмешок, ружье в руку и – к двери. Вовка за ним.

Обогнули избушку, оставив болотину за спиной, пошли по тропе. Скоро показалась болотина новая.

– Здесь, – наказывал Данила. – Пойдем во-он на ту скалу...

Вода, кочки, чахлые березки, коряжины и твердая земля. По затраченному времени Вовка прикинул, что ширина этой болотины примерно такая же, что и по другую сторону острова. Скала, на которую шли, будто спряталась за кедровым бором, что начинался сразу же за болотиной.

Такого кедрача ему видеть не приходилось. Вовка обошел одно дерево, другое, обернулся в недоумении на дядьку.

– Че, не видишь следа от колота? – спросил тот, улыбаясь. – И не увидишь. Здесь еще не было ни одного промысловика. Не бью здесь шишку и я. Этот кедрач и есть сердце тайги на много десятков километров окрест. Может, и на сотни километров. Теперь попробуй представить, сколь зверья, птицы кормится от этого кедр. Када урожай, здесь кишмя кишит от всякой лесной твари. Отсюда на все стороны света ведут пути живого богатства таеж-

ного. Богатства восполняемого и неиссякаемого. Нет в тайге неживого. Все живое: и зверь, и птица, букашка какая, и дерево, и цветок, и трава. Как к живому и относишься. Братъ нада разумно, чего вам, молодым, понять трудно и что постигается с годами, то есть с опытом прожитых лет. Я вот, када первый раз сюды пришел, то подумал так же, как ты сейчас: вот, мол, где намолочу-наворочу. Силушки-то немерено. Но потом призадумался, пообсмотрелся, и рука не поднялась. А шишку я бью дале, откуда мы с тобой нонече вывозили орех. Там тайга промысловая, обычная. А эта, что пред тобой, – за-по-вед-на-я! И ты сюды не лезь. Тада будешь промысловиком настоящим. Залезешь – и потеряшь это настоящее. Значица, никудышный ты человек – так себе. Тьфу и – боле ничего. Не трогали эту тайгу и наши с тобой родичи. А почему? Да потому, что они были – Беловы!

– Ну так что ж: Беловы да Беловы. Чем мы-то лучше других? Я вот, например?..

– Точно не скажу, но мнится мне – ты средь нас, Беловых, не последний.

– С чего бы это? – с внутренним волнением продолжал спрашивать Вовка.

– Есть таки люди, вроде с печатью на лбе. Не всякому дано ту печать разглядеть. Ты еще маленький был, а все с подскоком да с вопросом. Тока подумашь: воды бы испить, а ты уже несешь ковшик. Иной антирес у тебя к людям и к жизни. Хотя, думаю, людей ты не очень-то жалуешь. Может, я в том виноват: я их, людей то есть, также не жалую. Я вопче сужу о человеке по его поведению в лесу. Как себя ведет, така ему и оценка. Вить дрянной человек – всюду дрянной. На лес он смотрит как на место, где все дармовое, значица, можно хапать, ни на кого и ни на что не оглядываясь – на других людей, на закон, на Бога. Возьми хоть тех же заготовителей, что каждое утро ездят в лесосеки. В них не осталось ничего живого, потому как они каждый день губят живое. Отсюда пьянство, дебош в семьях. Душа у них выгорела. Дотла выгорела. Дозволь им, то и людей так же хлестали бы топорами, а то и пилили пилами. И пьют вить не такие, как я по возрасту, потому как нас воспитывали на добре, – пьют их дети, вот как брательник твой Санька. Это поколение уже с младенчества приучено к мысли, что лес растет для погубления и деньги платят, смотря по тому, сколь деревьев загубил. Вошли в года и стали хлестать без оглядки. Им вить никто никогда не говорил, что лес – это живое.

– Но ведь в том нет их вины?

– Вины их нет, и это правильно. Но где семья, школа, государство, наконец? Значица, пошатнулись извечные устои и захромал на обе ноги народец-то. Не в лучшую сторону захромал, и така политика, ежели она будет продолжаться, к добру не приведет. Можно срубить перестойное дерево, а рядом оставить подрост. Они же хлещут направо и налево – лишь бы побольше нахлестать и побольше отхватить деньжищ. И деньги эти – дурные деньги. Нет в них радости. А коли нет радости, то пропить их как бы и не жалко. Дурному – дурное употребление!

– Зачем же пропивать? Я бы не пропил, а в дело пустил, – вставил свое Володька.

– Земля и ее богатства, паря, не бездонны, – продолжил свою мысль старший Белов. – Когда-то, при таком-то отношении, они закончатся. Че тада будет делать человек? А вить в природе от Бога все было так устроено, что ежели брать разумно, то все возобновляется. Навроде того, что каждый год приходит весна и все кругом начинает зеленеть. Летом нарастают плоды. Осенью их срывают и готовятся к зиме. Зиму природа отсыпается – отдыхат то есть. И так мильены лет. И вить не устает природа делать свою работу. Не устает, ежели к ней с умом и бережением. Вот как нельзя губить этот кедрач. Но самое подлое я вижу в том, что творимое повсеместно зло уже отражается и дале будет отражаться на всех, независимо от места жительства и рода занятий.

– И Люська говорила мне, что у Ануфриева короткий срок жизни...

– Твоя сестра, хлебнув иной жизни, быстро поумнела. Поселок обречен и будет ликвидирован сразу же, как тока кончится лесосырьевая база. Как кончены были мелкие леспром-

хозы и поселки при них. Остались тока одни брошенные кладбища. Ежели не ликвидируют, то просто бросят, а там уж каждый будет глядеть – гнить в нем иль куды бежать. Вот почему я изначально не хотел селиться в Ануфриеве, хотя мог бы, как твой отец, Степан Афанасьевич, поставить дом и жить себе припеваючи. Второе мое соображение было в том, что Ануфриево – это уже чужая мне земля, хоть и недалеко. И третье соображение такое: я не хотел иметь ничего общего с погубителями природы.

– А выселки... останутся?

– Что ж выселки... Выселки не замараны кровью живого леса. Они сами по себе. Жил же мой дед Ануфрий Захарович, ни в ком не нуждался, а я что ж?.. Придет срок, и попрошусь в богадельню, чтоб было кому руки на груди сложить. Мне с моими военными орденами не откажут. Земля ж всех уравниват.

– Дядя Данила, ты почему семью-то не завел? – спросил о давно интересовавшем.

– Семейю-то? – переспросил, усмехнувшись, старший Белов. – Семейя не напасть, да как бы семейному не пропасть... Ежели сурьезно, то и сам не знаю...

Задумался, будто в памяти своей оглянулся на прожитую жизнь. Медленно подбирая слова, продолжил:

– Женщина по плечу так же, как и дело по сердцу. Вот че толкат людей друг к дружке? Ну че?.. Я думаю, что первое – это страх. Страх остаться одиночкой. В одиночку же всегда труднее. Часто так бывает, что хочется у кого-то на плече выплакаться. Женщина ж существо мягкое, теплое. И с тобой вместе всплакнет. Вот и ладно. И дале пошел ломить. Я ж помоложе был – ни у кого на плече не плакался, а ноне – тем боле. А вот любовь, сказывают, есть – в это я верю. Тридцать с лишком лет прошло с войны, а все помню русалочку-санитарочку. Не потому, что любила меня иль я не смог найти ей замену. А потому, что сильнее меня оказалась. Сильнее характером. Нутром. Вить былатакаж молодая, как и я. И верх надо мной взяла, хоть того и не желала. Недаром же сказывают: сила силу ломит. Но это другая сила – сила женского сердца. Под такую силу можно и лечь. Така сила превыше всего на свете. Не предаст. Не обманет. Всю кровь тебе отдаст каплю за каплей. Вся иссохнет, а в тебя вдохнет жись... А за это – не страшно в огонь и в воду...

– И держал бы. Че ж отпустил?

– Все, о чем тебе сказываю сейчас, я понял позже. Тада ж не до нее было: шла война, где никогда не знашь, будешь ли жив. Некогда было оглядеться, собраться с мозгами. Да че теперь ворошить, я ж тебе уже сказывал...

Данила поднялся с валежины, пошел, ни слова не говоря. За ним и Вовка.

Кедровый лес, если в него всмотреться, будто светится изумрудно-зелеными иголками деревьев. Нигде более, чем в кедровом лесу, так зримо не чудится отсвет небесных светил.

Какая-то несказанная печаль разлита вокруг. Печаль сродни человеческой. При всей кажущейся могущественности, кедр поражает какой-то своей незащищенностью, неспособностью постоять за себя и только полагаясь на разум того, кто приходит к нему с колотом ли, с топором ли, с пилой ли. И что там скажешь: красота может остановить погубителя только красотой. Только она, красота, и может привести в восхищенно-жалостливое оцепенение, и рука, в коей орудие погубления, вдруг поослабнет, и очерствелое сердце вдруг станет биться так сострадательно, что нельзя, невозможно будет содеять зло. А всякое зло – невозвратно. Как бы потом ни каялся человек, как бы ни рвал на себе волосы, зло уже свершилось и возврата к прежнему нет.

Кедр – всем деревьям дерево, недаром растет он не только в Сибири, но и в таких запредельных для понимания сибирского жителя заморских краях, где он никогда не бывал и никогда не побывает.

Кедр – дерево Божье. Дерево – Божий дар.

И до чего ни коснись – все в кедре благотворно: запах, древесина, плоды. В кедровом лесу легко и бесполезно помыслить о Вечном. Покаяться и поплакать. Вздохнуть и выдохнуть. Вздохнуть с тягостью на душе, а выдохнуть с облегчением.

А еще говорят: кедрина... Кедрина, потому что родит плод. Потому что мать. Потому что, если провести по лицу мохнатыми иголками веток, остается ощущение прикосновения мягких рук женщины...

Сложные чувства испытывал Вовка, поспевая за дядькой, который, казалось, намеренно шел не торопясь, дабы и самому насладиться несказанной благодатью, и племяннику дать почувствовать. А племянник то задирал кверху голову, то вертел ею по сторонам, то оглядывал землю под ногами. Никогда ему, выросшему в таежной глухомани поселка, не приходилось бывать среди подобной первозданной природы. Среди подобной святости и чистоты.

Вовка Белов знал другую кедровую тайгу. Изможденную морщинами дорог. Избитую колотами, а нередко и лязгающими зубами гусениц тракторных махин, когда, дабы колыхнуть дерево, сдавал задом тягач и легонько наезжали на обреченную кедрина. И летели во все стороны, разбиваясь о землю, шишки. Затем наезжали на другую. На третью...

А в это время ликующие «шишкобои», шаря между листьями бадана, стеблями кашкары, другой какой травы-муравы, засовывая липучие от смолы, а точнее – от кедровой крови, руки, бросали и бросали в рогожные мешки отливающую синевой неба шишку и тащили те мешки к терищу.

Далеко окрест слышались рокот тягача и крики людей. А вечером, усевшись поудобнее у костра, вливали те люди в свои луженые глотки водюру, хвалились друг перед дружкой привалившим «фартом», потом вставали, пошатываясь, брели в зимовье, падали на нары, и храп сотрясал избушку.

Но даже если не тягачом, то колотом били нещадно.

Иной битый-перебитый кедр со временем усыхал и погибал, как погибал в старину от шпицрутенных наказанный за провинность солдат. Только это благородное дерево, уж во всяком случае ни перед этими, другими ли заготовителями вины иметь не могло, как не имеет вины случайно попавшая в руки насильника девушка.

Но шишкобои все ж оставляли жизнь кедр, а вот лесозаготовители – валили наземь. Погибель сия – неминуемая, и воля та человека с топором и пилой над живою природой – не знающая ни жалости, ни сострадания.

Идут от дерева к дереву, приглядываются, с какой бы стороны сподручнее ухватить. И ухватывают, да так, что гудит тайга от того басурманского нашествия. Со всех ног бегут враспынную лесные жители. А те, кто убежать не может, затаиваются в надежде спастись, но – тщетно: не пилой, так топором добивают. Не топором, так из прихваченного из дома ружьишка. Не из ружьишка, так ножом полоснут иль кирзовым сапогом придавят.

Никогда, ни в какие иные лихие времена не приносил столько вреда природе, вооруженный до зубов исчадиями так называемого технического прогресса, человек, как в двадцатом столетии от Рождества Христова. Никогда так подло не прикрывался сладкоголосыми речами об этом самом прогрессе, каковой якобы должен облагодетельствовать человечество в обозримом и в не столь обозримом будущем.

Лесному же рубке – все: и трава – трин, и дерево – трин, и заодно уж и будущее детей, внуков – трин. Не токмо море по колено, но и тайга – по пояс...

Выхлестали, выполосовали, выкосили и подобрались к заветному, что предки оберегали свято, потому что верили нерушимо: кедр – дерево деревьев. Живое, как живая, а значит, и чувствующая боль, вся природа. От кедра – всей тайге благо. А будет у тайги-то, будет и у человека.

Шли старший и младший Беловы по кедровому бору, и мало-помалу редели деревья, и впереди показалась та скала, на которую ориентировались, перебираясь через болотину. А под скалой – ручей Безымянный.

– Запомнил дорогу? – обратился старший к младшему. – Так другой раз и ходи. Это конечный путь. Теперь смотри: видишь во-он там, по правую руку, три сосны над скалой стоят, будто обнявшись? На них будешь выходить, када зайдешь с другой стороны. Там тропа.

Данила, легко прыгая с валуна на валун, перешел на другую сторону ручья, шагнул к приткнувшемуся к скалистому выступу кустарнику, вынырнул из него с приспособлением вроде корытца. Затем шагнул в воду, зачерпнул корытцем песку и потряс над водой. Поманил рукой племянника.

Когда тот подбежал к дядьке, указал на поблескивающие крупинки.

– Это, дорогой племяш, золото. Здеся его – прорва. Это и есть тайна нашей беловской родовы. Знал о золоте Ануфрий Захарович, знал Афанасий Ануфриевич, знал я, а теперь вот знашь и ты.

Перевернул корытце, промыв его в пробегающей воде. Отставил в сторону. Затем снял с шеи мешочек, развязал и выкатил на ладонь три небольших самородка.

– Это вот золотишко передал мне мой отец. Золотишко отсюда. В написание. Я его ношу на шее сорок годков. Ношу и помню завет – не трогать золото и чужого человека сюды не пускать.

– Почему ж? – сиплым голосом, будто чем передавили горло, спросил племянник.

– Первое: золото это ты никому не продашь, значаца, и не наживешься. Посадят в кутузку да еще пытать будут: откуда, мол, оно у тебя? Но я мыслю так. Ежели пустить сюды промышленную добычу, то все вокруг разворотят. Камня на камне не оставят. Погибнет тайга – это прежде всего. Ежели добывать старательским манером, то и те добытчики изнахратят заповедное. Ничего и никого не пожалеют. Но главное – перестреляют, а то перережут друг дружку. Вить где золотишко, там и кровь. Там вред и убийство. Надо ль допускать подобное? Аздеся ключик ко всему, что на десятки, на сотни километров вокруг. Тайга должна стоять, как и стояла до этого тысячи лет. Потому давно мыслю: организовать бы здеся заповедник иль по крайности заказник. Всю площадь моего участка отдать под охраняемое государством таежное пространство, да еще прихватить соседского. Легче было бы управляться с разного рода любителями поживиться за счет тайги.

– Но когда-нибудь все равно сюда придут и будут добывать...

– Будут – с этим не поспоришь. Тока мы, Беловы то есть, к тому руку не приложим. Кровь беловска взбунтует. Убиенные завопиют. И ты, Владимир Степанович Белов, помни о том заклятье. Передав седни тайну тебе, я как бы облегчился от нее. Теперь это и твоя тайна. А ты уж – гляди...

* * *

В ожидаемое время на выселки приехали «еологи». Приехали той же командой, что были до этого. Поздоровавшись с хозяином, выгрузили рюкзаки, ящики с тушенкой и сгущенкой, ружья, палатку, спальные мешки. Видно было, что готовились основательно.

Как мог и на сколько мог, улыбался им Данила, что-то спрашивал, и ему отвечали. Тут же суетился дед Воробей, которого представил как большого знатока здешних мест.

– Тайгу точно знаю, – подсказывал Воробей. – Вот о золотишке – не слыхивал...

– Вас, уважаемый, золотишко-то вряд ли интересовало, вот и не слыхивали, – оглядывая старика, отозвался смуглолицый.

– Так-так, – подсказывал Воробей. – Так-так...

– Позвольте, мы разгрузимся, а там и поговорим. Вы, наверное, один из коренных поселковых жителей?

– Коренник я, эт верно. А мешать не буду. Коли мешаю, дак я и вовсе могу возвернуться в Ануфриево, потому как в жизни никому не мешал. Афанасьич вот подтвердит.

– Вы мне Ивана Евсеича не обижайте, – решил вмешаться Данила. – Он был таким охотником, каких по всей Сибири не найдешь. Вот повернется и действительно уйдет к себе в поселок, и кто от того выиграет? Мне одному будет сложновато за всем углядеть. Так что будьте добры...

– Да мы к Ивану Евсеевичу со всем почтением. Замотались с командировкой. Не отпустило ведь начальство. Не верят, что здесь можно что-то найти...

Данила подождал, с усмешкой глядя в лицо смуглолицего, закончил о своем:

– И давайте сразу договоримся. Хозяин здесь – я. Я вас поведу, потому и слушать тока меня. Иначе и я брошу эту затею – сильно нада нам с Евсеичем по тайге таскаться. Други дела есть.

«Так вас, та-ак... Знайте свое место, геологи ср...е», – додумывал, направляясь в дом.

Перед дверью обернулся: смуглолицый что-то втолковывал товарищу, тот стоял понурив голову, внимательно слушал.

«Та-ак вас...»

И у Данилы было все готово к походу. Намеренно не стал приглашать перекусить, сославшись на ограниченное время – надо, мол, успеть засветло добраться до зимовья. В данном случае стратегия старшего Белова заключалась в простом: весь поход он решил построить на изморе пришлых, дабы те не смогли ориентироваться привычными способами, какими пользуется в тайге бывалый человек. Ведь он и в самом деле не знал, насколько опасны эти люди и чего от них ожидать в дальнейшем.

Старика Евсеича послал раньше, объяснив это тем, что Воробей к их приходу должен был подготовить зимовье, развести костер, согреть воды.

– Вы вить люди городские, другие вам требуются и условия, – заметил не без иронии. – Путь к тому ж предстоит не из легких, да и на завтрашний день ничего хорошего не обещаю.

– Но вы-то ходите и – ничего?

– Мы – привычные.

И предупредил:

– Выступам через полчаса.

Данила шел привычным шагом таежного человека – неторопливо и в то же время нигде не задерживаясь. За спиной – вещмешок, в котором самое необходимое, да винтовочный обрез с патронами. Одностволку припрятал у ручья, когда ходили с племянником. Двустволку отдал Воробью. Весь харч давно был в зимовье.

Приезжие тащили несколько облегченные рюкзаки – лишнее Данила приказал оставить на выселках, объяснив это тем, что в зимовье еды на всех хватит.

Шли густыми сосновыми борами, шли через осинник, переходили через ручьи, поднимались в гору, спускались вниз. Наконец пришлые не выдержали, запросили отдыха.

Чуть перевели дух, Данила встал, посмотрел в сторону склоняющегося к западу солнца, коротко бросил:

– Некада расслаживаться, нада торопиться.

По сути дела он кружил, избегая узнаваемых мест, чтобы пришлые ничего не заподозрили. А солнце склонялось все ниже и ниже. Подкатили сумерки, а там не замедлила себя ждать и темень.

– Ну вот и дождались ночи, – сказал, ни к кому не обращаясь и не сбавляя шага, Белов. – Придется теперь идти сторожко.

И еще кружили часа два.

В зимовье уткнулись часам к двенадцати ночи. У потухшего костерка сидел, покачиваясь, дед Евсеич, на тагане висел котелок. Увидел подошедших, вскочил, запрыгал:

– Чай, плутанули по тайге-то? Чтой-то долгонько вас не было...

– По темноте много не находишь. Того и гляди ноги переломаш, – пробурчал Данила, про себя довольный результатами начавшегося похода.

– Так-так... Правду сказывать, Афанасьич. Счас костерок подшуреем, чайку подогреем и попьем. А то давно простыл.

– Чаю выпьем, однако рассиживаться не будем – завтра рано вставать.

Разгораясь, языки пламени выхватили из темноты запаленные лица золотоискателей. У обоих, как понимал Данила, сил хватило только на то, чтобы сбросить рюкзаки.

«Вот и ладно», – отметилось в мозгу.

Утро следующего дня началось с такого же перехода, как и в день предыдущий. Воробья Данила выслал вперед: свою задачу дед знал, детали они обговорили заранее.

Большую часть содержимого рюкзаков Иннокентия и Петро, как их стал называть Белов, оставили в зимовье.

Золотоискателей Данила задумал потаскать по пустым ручьям и, когда те будут окончательно измотаны, возможно, привести на Безымянный. Там-то и пусть дадут волю страстям.

В подобном положении ничего нельзя было предугадать заранее, тревожил и виденный им накануне сон. Будто приступил к его постели кто-то и будто бы говорит: «Ты, Данилка, уж большой стал. Во-он как вырос – в дверь согнувшись входишь. А до верха еще далеко. Ты выпрями спину-то, выпрями. И ступай прямо. Неча горбиться-то. Не ушибеешься...» И – пропал, только вроде туман пошел по избе. Потом туман стал разясняться и в дверь будто бы заглянуло солнце – ярко так осветило избу, что все ее уголки заиграли.

«К добру ли, нет ли?» – раздумывал Данила. По смыслу вроде бы к добру, но вить он сам-то от чужих людей ниче доброго не ожидает?

Данила не был суеверным, но, собираясь в тайгу, всегда придавал значение мелочам и бывшим в ходу среди охотников приметам. Никогда в канун охоты не смазывал ствол ружья или карабина, например, – как говорили бывалые промысловики, дробь ли, картечь ли масло «живит», и убойная сила выстрела понижается. Никогда не шел на берлогу, будучи неуверенным в своей удаче. Никогда не возвращался, даже если отошел от дома каких-нибудь с десяток метров, а чтобы чего-то не забыть, готовился к тайге задолго до срока.

Что до мелочей, то на протяжении всего путика – так промысловики называют путь охотника от базового зимовья до конечной точки участка, при небольших избушках у него имелось все, что нужно для пропитания, для лечения, для отдыха, для продолжения промысла. Избушки те хоть и были небольшенькими, но теплыми и уютными. Печки заправлены дровами – только чиркни спичку, и тепло тебе обеспечено. Подобная предусмотрительность не раз выручала Данилу, когда его, обессиленного, промокшего от пота и снега, продрогшего до стука зубов, принимала очередная избушка, где он, под гудение печурки, быстро приходил в себя и начинал заниматься делом.

На этот раз в поведении «еологов» Белов не упускал ни единой промашки. Внимательнейшим образом осмотрел их снаряжение, если экипировку пришлых можно было назвать снаряжением.

Опытный геолог сродни промысловому. Продукты упакованы в матерчатые мешочки, часто сшитые из водонепроницаемой ткани. А эти тащили с собой какие-то стеклянные банки с наборами борща, каши, томатной пасты, кружки колбасы, в целлофановых пакетах – соленая и копченая рыба.

Косил в их сторону глазом и Воробей: он лишь пошвыркал чаем, размачивая в нем сухари.

«Старый хрыч пойдет легко и скоро, – про себя улыбнулся Данила. – Такого и в его года не догонишь...»

Смуглолицый Иннокентий обошел зимовье, постройки, заглянул в баню.

Светловолосый Петро с виду как бы с ленцой, но и этот себе на уме, что особенно выдавали глаза: внимательные, немигающие. И кто знает, не распределили ли они промеж собой роли.

Данила вел себя уверенно, распоряжался, давал советы и в целом казался озабоченным одним – как лучше организовать «экспедицию». Или «експидицию», как на свой манер называл их поход Воробей. Перетряс рюкзаки приезжих, намеренно сетуя на самого себя, мол, надо было осмотреть вещи приезжих еще на выселках.

Старика «еологи» не принимали всерьез, и это было на руку Белову. Значит, уверены, что в случае необходимости с ним одним справятся без особого труда. Рассуждая в этом направлении, он приходил к выводу, что если будет открыто золотоносное месторождение, то они с Евсеичем сразу же становятся лишними свидетелями. А концы спрятать лучше всего в тайге. В поселке ни Белова, ни старика Иванова быстро не хватятся, разве что к осени. Искать тоже никто не будет. Машину, по совету Данилы, они замаскировали чуть в стороне от выселок, так что добраться до райцентра и дальше смогут без особых помех. А были они или не были в тайге – никто не узнает.

Правда, надо еще выйти из тайги, а эти вряд ли выйдут самостоятельно.

Все эти предпринятые Данилой предосторожности, возможно, были излишними, но лучше перестраховаться, чем потом каяться, как это он всегда делал, когда шел на матерого зверя. Но хорошо бы каяться – при встрече с медведем можно и с жизнью распрощаться.

На Айсе, куда для начала привел их Данила, золота, конечно, не было, что скоро поняли и городские добытчики. Тут же снялись, и вернул их Белов на тот же ручей, только выше. И здесь пусто. Повел дальше и снова на ту же Айсу.

К вечеру золотоискатели умотались до такой степени, что запросились к базовому зимовью.

«Привыкают, – отметил про себя Данила. – Так-то хватит их ненадолго...»

Но в избушке, куда добрались по темноте, расслабились, хлебнули спирта, пробовали шутить.

– Ниче... – подыгрывал им Воробей. – Завтрева будем с фартом.

И добавил:

– От... и – до...

Суетился, подпрыгивал, предлагал чаю.

– Вы, Иван Евсеич, рассказали бы что-нибудь из прошлой промысловой жизни, – устало говорил ему откинувшийся к стене и как бы слившийся с нею смуглолицый Иннокентий. – Неплохо бы услышать об особенностях тайги в разное время года...

– Да ить вы ж сами – еологи, сами знаете тайгу не хуже меня, – схитрил Воробей.

– Вы, Иван Евсеевич, знаете ее с другой стороны, как таежный житель и работяга, для которого каждая примета имеет значение. Мы же – поисковики, да и то больше по кабинетам. Все под ноги глядим, все ищем, сами не знаем чего...

– В тайге, милой, ниче за просто так не дается, – начал издавека, польщенный замечанием смуглолицего. – Вот вроде бы все пред тобой, бери – не хочу. Ан нет. Все ноженьки сотрешь, все обутки собьешь, всю одежонку, кака на тебе, сорвешь, а фарт не дается. Тута слово нада знать...

– Какое слово? Заговор, что ли?

– Вроде того...

– И вы знаете?

– Може – знаю, а може и – нет.

– Сказки рассказываете, – подзадоривал старика и светловолосый.

– Не скажи, любезнай, – обернулся к нему Воробей. – Я, чтоб ты знал, трепливым никогда не был. Даже када пил горькую. От... и – до...

– Так вы любите выпить? А я бы такого никогда не подумал, – продолжал задирать старика светловолосый.

– И алкашом никогда не был. Всю жись свою я трудился и тайгу энту вдоль и поперек многожды избегал вот энтими ножками...

Воробей выпрыгнул на середину избушки и начал выделывать ногами фигуры, желая, видно, показать обидчикам, что ноги его по-прежнему слушаются и готовы бегать еще.

– Вам бы о здоровье своем подумать, а не по тайге бегать. Возраст ведь...

– Дохтара меня в глаза никада не видели, а я их. Своими ноженьками на кладбище пойду.

– Да ладно вам, – вмешался смуглолицый. – Вы нам, Иван Евсеич, про заговор расскажите.

– Про заговор-то?..

Воробей остановился посреди избушки, будто припоминая что-то, потом шагнул в темноту – к нарам.

– А нет заговора-то, – отозвался со своего места. – В тайге, ежели ко всякой малой твари, к деревцу ли с добром, то и лютый зверь тебя обойдет. И хворобь не возьмет. И лихо-манка не затрясет. И леший не подступит. И хлябь болотная не засосет. И баба моховая не приворожит.

– Ишь, зачистил, – усмехнулся в своем углу Данила. – О бабе моховой вспомнил...

– А что из себя представляет эта баба моховая?

– А вот как хозяйка медной горы. У всего на свете есть своя хозяйка. Она-то и стережет золотишко-то. Вы ж и промеж собой согласия не имеете. Един грит одно, другой – друго.

– На нас вы, Иван Евсеич, внимания не обращайтесь, – по-доброму засмеялся тот. – Что до наших отношений с Петром Игнатьичем, то нас так просто не сшибить. Мы люди, проверенные временем.

– Мне-та все одно, каки вы есть, – махнул рукой старик и больше не сказал ни слова.

В зимовье возвращались уставшие, понурые, молча ужинали, ложились спать. Два ручья – Айса и Карбазей, небольшая речушка Кода были пройдены сверху донизу, и всюду, где делали пробный намыв, ничто не предвещало открытия.

Данила и Воробей молча наблюдали за пришельцами. Им было яснее ясного, что ни тот, ни другой тайги не знают. Что никогда не ходили они с партиями кладоискателей земных недр. Никогда не ночевали у костра, не оборудовали лагерь. В лучшем случае – выезжали на природу покутить в кругу себе подобных. Брось их сейчас в тайге – и потеряются в безбрежных пространствах таежного Присаянья. Хотя – нет. Что-то, конечно, припомнят из читанного в умных книгах, писанного в школьных учебниках, а то, что учились и читали поболее его, Данилы, – в том он не сомневался. Но что-то связывало этих двух людей настолько крепко, что никакая взаимная неприязнь не могла нарушить ту связь. Они не были похожи на закадычных друзей. Здесь было нечто иное, сокрытое от взгляда стороннего, куда не пускают никого, даже если присутствует серьезный взаимный интерес.

И они знали, что искали.

– Пустые ручьи, – бормотал иной раз, ни к кому не обращаясь, смуглолицый. – Пустые... Ну хоть бы золотник наклюнулся... Хоть бы один, чтобы знать, что не зря мы здесь. Неужели старики ошибались...

– О каких стариках толкуешь? – спросил однажды Данила.

Тот поднял голову, будто раздумывая, отвечать, нет ли... Глаза блеснули, но не зло – привиделась в них Даниле даже какая-то безнадежность.

– Знали мы таких, лет тридцать, как померли. Они-то и утверждали, что в давние времена обитала в этих краях небольшая колония староверов, которые и мыли здесь золотишко, откупаясь им от властей, а заодно уж обменивая золото на уездном базаре на нужную им мануфактуру.

– И че ж было дале?

– А что бывает, когда не угоден властям, да еще и знаешь, где богатство... Выкурили, конечно. И кто тут же, в тайге, лег, кого – в острог. Женщин и детей расселили по богадельням. Ну а пострадать за веру наш русский человек всегда за честь почитал...

«Так вот откуда остатки землянок на другом болотном острове. Не иначе, как от староверов...»

Белов часто и много размышлял над не поддающимся объяснению вопросом: что заставляло деда его Ануфрия Захаровича жить в отдалении от всех людей? За ради какой надобности надо было мучать отрешением от себе подобных и жену свою, и деток? Чего искал он иль от чего спасался?

«Не иначе, как дед мой происходил от староверческого корня, – понимал теперь Данила. – Отсюда и знание его, за которое положил семью...»

Догадка эта так поразила его, что захотелось вытянуть из открывшегося для откровенного разговора Иванова все, что тот мог слышать и знать о давно минувшем.

– Ну а старики, те откуда знали? Тож были из староверов?

Иннокентий переглянулся с напарником.

– Выжить можно было, только следуя известной поговорке: бей своих, чтобы чужие боялись. Но я это так, шучу... Вообще же старики были правильные, с умом, преданные своему делу и своей стране.

– Да уж своими-то они были разве тока Сатане, Сатане и служили...

– Если следовать вашей логике, Данила Афанасьич, Сатана – Ленин, а приспешники его – коммунисты...

– Ты меня, Иннокентий, за язык-то не лови, вить знашь, что не о том я... И не партком здесь, а тайга. Тебе – мачеха, мне – мать родна.

– О чем же?

– О том, что к коммунистам примазалась разная нечисть. Под эту марку и били людишек. Оборотни, в опчем.

– А ты полагаешь, что так называемые истинные коммунисты были другими?..

Вопрос Иванова был настолько откровенным и неожиданным для Белова, что тот не сразу смог собраться с мыслями, раздумывая: намеренно ли задан иль к слову пришлось? Ответил неопределенно:

– Ну, этого я знать не могу, неучен. Одно скажу: оборотни были во всякое время и посередь всякого племени. От них-то и вся беда простому народишко, который они ненавидели лютой ненавистью. Иначе народишко-то получше теперешнего жил бы... Ненавидят как раз за терпеливость, некорыстность, верность вере своей православной, староверы вить тоже были люди православные. И раскол произошел не по вине простых верующих, а по вине иерархов и приспешников от верхней власти.

– В целом правильно понимаешь. А по виду – не скажешь... – глядя прямо в глаза Данилы, задумчиво проговорил собеседник.

В этом взгляде Белов усмотрел такую глубину опытного, знающего всю меру всякой ответственности человека, что впервые и в себе почувствовал зуд интереса к пришлым. Впервые за их «экспедицию» он забыл о всякой осторожности, подсел ближе к говорившему, готовый слушать и слышать. И они заговорили, как давние знакомые, заговорили о том, о чем думалось, что тревожило, что сидело в каждом, может, никогда в полной мере не высказанным, копившимся многие годы и вот теперь созревшим, запросившимся наружу.

– Значит, книжки читаете, хотя книжных знаний здесь маловато. Опыт общения нужен. Природный ум. Насчет общения – не знаю, а вот в уме вам, Данила Афанасьич, не откажешь. Но – откуда? Всю жизнь в тайге живете, со зверьем общаетесь, на деревья молитесь... Откуда-да?

– Откуда и все происходит: от матери-отца, от войны страшной, на коей за чужие спины не прятался. От родной земли.

– Это все, уважаемый Данила Афанасьич, общие слова. Вернее – общие места...

– Пускай общие, да – самые главные. Главней не бывает.

– На этом вас, простых людей, и покупают: зазывают на стройки века, поднимать целину, сгоняют с насиженной предками земли, которую собираются затопить рукотворным морем. Да мало ли куда...

– Нет, Иннокентий... как тебя?..

– Федорович...

– Нет, Иннокентий Федорыч, нас и гнать не нада в энти глухомани, мы сами идем. Своей волей. Потому как не пойдём мы, то и страна сгинет в тартарары. И дети наши, внуки наши будут в лакеях у какого-нибудь фюрера.

Никогда в своей жизни Данила не вступал в подобные споры. Но думать – думал, благо времени для того у него имелось через край.

– Тебя послушать, дак нас кругом обманывают, – добавил. – Тогда и жить не нада...

– Жить – надо. Но жить с умом. Те старики, о которых я говорил, своих сыновей в рабфаки определили. Выучили, по службе продвинули. А сыновья уже их сыновей – еще дальше пошли. И так из поколения в поколение отпрыски их будут подниматься все выше и выше. И достигнут той вершины, когда при любой власти, при любой формации они будут неуязвимы. Даже если все будет рушиться вокруг.

– Че ж это за неприкасаемые такие?..

– Истинная власть всегда сопряжена с наличием денежной массы. Количество денежной массы определяется концентрацией власти в одних руках или в руках некой группы, клана. В том непреложный закон экономики и власти.

– Значица, золото вам понадобилось, чтобы иметь больше власти?

– Золото понадобилось не лично нам с Петром Игнатьичем. Мы здесь, если такой ответ тебя устроит, с позволения своего ведомства. Но рассуждаешь ты, Данила Афанасьич, в правильном направлении. Деньги особенно нужны, когда ослабляется государство, а мы – люди государевы. Чтобы государство не ослаблялось, должен быть в запасе какой-то задел. Скажу больше: в семьях тех стариков сохранилось предание о том, что в этих местах обязательно должно быть золото. Вот мы и решили на собственный страх и риск проверить эту информацию. Ну а лучше всего представиться геологами, хотя к геологии мы не имеем никакого отношения.

– Мил человек, – вмешался доселе молчавший Воробей. – Я почитай полсотни лет хаживаю в энтих местах, все ручейки и речушки избродил, но никада не слыхивал о золотишке. Не слыхивал и о старовеях.

– Может, просто не придавали значения разговорам?

– Бабы – треплют, энто быват. Мужики, када примут по грамм триста, – тож болтают. Но де ж хвакты? Да ежели б оно было б, дак че ж бы творилось вокруг! Народу б сколь навалило!.. До смертоубивства б!..

Старик уже не стоял на месте: суетился, махал руками, подпрыгивал, насканивал на Иванова.

– От... и – до!..

– Остынь, старый черт! – остановил его Данила.

Продолжил о своем:

– Ну даже ежели предположить, что золото в наших краях есть. И куды бы вы с ним подались? Ни сдать, ни продать...

– А вот послушайте, что я вам расскажу... Государство – это очень чуткая к переменам машина. Был Сталин. При нем государство достигло самых высоких вершин, каких можно было достичь, начав на руинах. Пришел Хрущев – этот, наоборот, начал расшатывать ту машину, потому и был сброшен верхушкой, которая понимала, что любое процветание невозможно без стабильности. При Брежневе машина выровняла свой ход, и этот период продолжался почти два десятилетия. Но Брежнев умер, и начались в той машине перебои, потому что для государственной машины частая смена правителей – губительна. В такие моменты истории и появляются некие реформаторы. Появляются не сами по себе, их сознательно выталкивают некие скрытые до времени силы. В общем, нагонят мути такой, что не приведи господи – по головам пройдут, по судьбам, по детям и старикам, по истории, по самому заповедному и святому. Я бы, Данила Афанасьич, всего этого тебе не говорил, если бы не понимал, что ты – человек породы особой и многого смог бы добиться в жизни, будь на то другие обстоятельства и твое на то желание. К тому же уверен: дальше нас с тобой да, может быть, этой тайги сказанное мною не пойдет.

– Ты так уверен?..

– Уверен. Прежде чем отправиться в ваши края во второй раз, я попросил своих друзей из некоего управления сделать относительно тебя запрос, покопаться в архивах и теперь твердо знаю: откуда ты, кто твои родители, где воевал и как воевал, какие имеешь награды, как трудишься после войны. И поверь: людей с такой биографией, как у тебя, наберется не так уж и много. Одно то, что ты, Белов Данила Афанасьевич, – кавалер трех орденов Славы, говорит слишком о многом.

– Надо же, – качая головой, проговорил Данила. – А я-то, дурак, думал, вы каки залетные... Так и проживешь на свете, обрастая мхом и не ведая, что творится вокруг... Нет, из глухоманей своих нада выходить, – проговорил как бы в подтверждение собственных дум Данила. – В Иркутск съездить, еще куды – к однополчанам, к примеру. Давно зовут, да все недосуг...

– Из глухоманей выходить не надо. Тут вы, Данила Афанасьич, на своем месте. Будь моя воля, я бы вообще назначил вас смотрителем всех лесов губернии – во-он какой у вас порядок в хозяйстве. А съездить вам есть куда...

– Так-так, любезнай, – подскочил на месте Воробей. – До Афанасьича эт участок был мой, дак ниче не было. Ни-че...

Воробей изогнулся в сторону беседующих, разводил руками, раздувал щеки.

– Как это: ниче? – улыбнулся Иванов.

– Избушки – плохонькие... Печурки – из камешков... В лабазах – пусто... Годами не мылся – баньки-то не имелось... Ох, и намучился ж я... Но план давал... От... и – до...

При последних словах о «плане» старик гордо дернул головой.

Пришла очередь улыбнуться и Даниле.

– Обустроить участок – ерунда. Было б желание. Я, канешна, понимаю, что слова – одно, а дело – другое. Но и на том спасибо. Начальники у нас – перекасти-поле. Тока для себя и под себя. Хотя и этого не могут, кусками норуют сглотнуть. Отсюда и бардак. Я ж для себя никогда не старался. Мне хватит моей тайги. Но позволь спросить. Ты вот много чего знашь обо мне, а скажи: откуда у тебя этот вот нож? Вот дай-ка его мне...

Иванов подал. Данила повертел его в руках, сказал:

– Видишь на рукояти знак в виде креста иль птицы...

– Вот вы о чем, Данила Афанасьич... – долгим взглядом посмотрел в глаза собеседника. – Это действительно вырезан крест, крест староверческий, следовательно, нож принадлежал когда-то староверу. Мне он достался от тех стариков на память, а они рассказы-

вали моему отцу, что сразу же после Гражданской в губернии зверствовала шайка бандита Фрола Безносого. Когда его взяли, в логове Фрола был и этот нож.

– Ты смотри, как все в жизни закручено... – раздумчиво проговорил Данила, к своему удивлению, не испытывающий в этот момент ничего, кроме разве что интереса. – Ножик-то этот – моего убиенного деда Ануфрия Захаровича, о приметах его на смертном одре рассказал мой отец Афанасий Ануфриевич.

– Значит, теперь вы точно знаете убийцу семьи своего предка. А нож – возьмите на память, вам он дороже.

– Не ожидал... Спасибо тебе, добрый человек...

Сказал и осекся: добрый ли? Он-то, Данила, готовился к иному...

«Чертовщина какая-то... И че эт я на людей, как на матерых зверей, снаряжался? Де-э-ла-а... Вот уж действительно: век живи, век учись, да оглядывайся...»

Данила оживился, заросшее щетиной лицо его осветилось хорошей улыбкой. Спросил:

– Но ты, Иннокентий Федорыч, сказывал, что мне есть куды съездить. Дак куды ж?

– Тебе, Данила Афанасьич, имя Евдокии Степановны Бадюло ни о чем не говорит? – перешел на «ты» Иванов.

– К... как ты сказал?... – привстал со своего места Белов. – Какой Евдокии?..

– Евдокии Степановны Бадюло. Да успокойся ты. Пути Господни, говорят, неисповедимы. Так вот: в 1944 году эта женщина находилась в санитарном поезде и затевалась рожать. Поезд попал под немецкую бомбежку, но она – выжила и родила мальчика...

– Сына, значица...

Белову стало трудно дышать, а сердце забилося так, будто в погоне за соболем.

– Да, твоего, как я понимаю, сына, и зовут его Николай Данилович Белов, так что сомнений никаких не может быть. Он теперь проживает в городе Туле, по профессии – художник и, видимо, серьезный товарищ, если состоит членом Союза художников СССР. Евдокия Степановна – в пятидесяти километрах от Тулы, в поселке Дубна. Одинокая, но в общем-то никогда замуж и не выходила... Поедешь к сыну, пригласишь к себе, покажешь тайгу. И он тебе такие картины напишет, с такой неожиданной стороны покажет тебе твою вотчину, что возблаговаришь жизнь за счастье жить среди этой благодати. А Евдокия?.. Ведь сыну твоему дала свое отчество и фамилию. И что из этого следует?..

Выговорился и мягко тронул собеседника за плечо.

Для Данилы Белова все, что было вокруг, и все, что могло быть в этот момент в его поле зрения, вдруг потеряло всякий смысл. Не обращая ни на кого внимания, он стал собираться. Глядя на него, то же самое сделали и его спутники. И пошел-то он, опять же, ни на кого не глядя и не оборачиваясь. Следом тащился мотающий головой Воробей, за ним – остальные.

Шли кратчайшей дорогой и скоро были у зимовья.

Данила сам взялся разводить костер, налил воды в котелок, повесил на таган чайник. Жестом показал Воробью смотреть за костром, сам скрылся в чаще леса.

Подошли Иванов с Ковалевым, сели на валежину, сутившийся у костра Воробей бросал в их сторону укоризненные взгляды и тоже молчал, выдавливая из себя время от времени нечленораздельное: «И-и-эх... И-и-эх...»

Вернулся Данила с другой стороны леса часа через полтора. Лицо отражало то внутреннее состояние покоя, которое он, видимо, и испытывал.

– Ты, старый, давай-ка сюды припас, даче получше, – приказал Воробью обыденным тоном. – Пировать будем. И вы, уважаемые, не сидите как на поминках, – глянул в сторону нахохлившихся Иннокентия с Петром. – Помогайте старику. А я – в погребок.

Когда стол был собран и в кружки налит спирт, встал со своего места:

– Чего угодно ожидал я от этого похода, но вот за такое известие сейчас бы хоть в пламя, хоть в полымя. Всю свою жись жил я с душой, скукожившейся, как ссохшаяся шкура вед-

медя. И думал, что уже ничем ее не размочить. Но вот оказывается, есть чем. Низкий тебе, Иннокентий Федорыч, поклон за известие, вот тока почему сразу-то не сказал?

– А ты бы тогда пошел в тайгу? – лукаво улыбнулся тот.

– Не знаю.

– Поэтому и оставил напоследок...

– Ну и правильно. Добрая весть всегда ко времени.

И была сомкнувшаяся над ними темень тайги.

Тайги, наполненной шумом раскачивающего верхушки деревьев ветра.

Тайги, напитанной звуками своих бегающих, ползающих и летающих жителей.

Тайги, хранящей свои скрытые до времени тайны.

Глава вторая

Данила Белов в то лето действительно съездил, как говаривают в Сибири, «на запад». Поначалу к своей фронтовой зазнобе Дуне, к коей заявился нежданно, в самое предвечернее время. Вернее сказать, «заявился» – вряд ли правильно. Сойдя с пригородного автобуса, тут же, на остановке, наткнулся на худошавого мужичонку, который, видимо, кого-то поджидал, да не дождался и собирался уходить.

– Мил человек, – спросил со свойственной ему хрипотцой в голосе. – Не подскажешь ли, где у вас тут улица Тургенева располагаются?

– Тургенева? – переспросил тот равнодушно.

– Именно его, писателя... иль как там, не знаю... – И добавил короткое: – Ну?..

– Да идите все прямо, вверх во-он к тем пятиэтажкам, там и увидите свою улицу.

Данила пошел своим привычным шагом таежного человека, ни на кого не оборачиваясь и нигде не останавливаясь.

На одном из домов прочитал требуемое название, нашел и нужный ему номер третий. Перед квартирой остановился, выждал некоторое время, постучал.

Что переживал в этот момент, что чувствовал, он и сам бы не сказал, находясь то ли в полубоморочном состоянии, то ли в состоянии какого-нибудь летаргического сна, только враз вдруг очнулся, даже несколько подивившись ответному за дверь голосу, который помнил всю жизнь, со всеми его переливами открытой женской души, будто не было за плечами долгих более тридцати лет безвременья. И сам вдруг почувствовал себя тем молодым парнем, каким был в годы военного лихолетья. И пока щелкнул замок и открывалась заветная дверь, вдруг осозналось, отметились в мозгу, что это не война ломала его, Данилу Белова, это он ее ломал, исключительно благодаря прозвучавшему за дверь голосу любимой женщины, которая оберегала его своими молитвами от бомбы ли, пули, какой иной напасти, чему бывает подвержен во всякий день выполняющий трудную солдатскую работенку пребывающий на воинской службе государев человек.

И выдохнулось:

– Дуня!..

И ответилось:

– Даня!..

И долгонько тянулось то объятие, то взаимное оглаживание рук смертельно стосковавшихся по друг дружке людей. Людей, постаревших телом, но юных той несказанной юностью вскипевшей крови, согревшейся однажды от любовного огня, негасимый отсвет от которого достает живых даже из могильного холода.

И сидели они на диване: он, не снявший своих «хромачей», пиджака с легонько позвякивающими наградами, с блуждающей на лице улыбкой и поблескивающими глазами, она – неловко перебирающая руками края передника, вся домашняя, близкая ему и родная, ничего не видящая и не воспринимающая.

– Ты бы, Дуня, водички мне, пересохло в горле, – выдавил, наконец, из себя вряд ли подходящее к моменту, а может, и самое что ни на есть нужное для завязавшегося промеж ними спустя минуту разговора.

Евдокия была из той породы женщин, которые сохраняют на долгие годы стать и все то, что принято называть женственностью. Простенькое домашнее платье только подчеркивало мягкость линий слегка располневшей фигуры, белизну рук и чистоту лица, каковая достигается не применением современной косметики, а дается человеку от рождения. Однако за внешней мягкостью и открытостью взгляда чувствовались твердость характера и способность постоять за себя. И никогда никому ничего не скажут, не посетуют на неудавшуюся

жизнь, как это нередко бывает среди женщин, потому что умудряются прожить эту свою жизнь с молитвенной благодарностью в сердце за дарованное счастье – полюбить. Этим они и берут за живое даже самых суровых и неприступных среди мужского племени. Этим помнятся. С этим живут. С этим уходят в иной мир.

Данила был ровней Евдокии. Что не осозналось в его фронтовой молодости, пришло и придавило впоследствии. Всяких женщин перевидел, на каждую смотрел с тайной надеждой найти нечто общее с Дуней. И – отстранился, отодвинулся, отгородился высоким заплотом от всех. Без обид и жалоб. Без внутреннего остервенения. Снисходительно, даже несколько свысока поглядывая на копошащихся в обыденности знаемых им семейных поселковых, знаемых им из других деревень и сел.

Никого не осуждая. Никого не поучая. Никому не завидуя. Давно примирившись с положением заматерелого холостяка, которому хотя бы раз в неделю надо постирать свои манатки. Хотя бы раз в день сварить поесть. Хотя бы раз в месяц ощутить рядом мягкое и теплое, что несет в себе и с собой женщина.

Он знал, что нет в нем каких-то особых «кровей», а есть то, что есть, и – все.

А чтобы не быть бельмом на глазу у поселковых, девять месяцев в году проводил в тайге.

– А ты, Даня, все такой же, ничего в тебе не поменялось, – говорила она ему позже, когда потянулись руки к рукам, щека к щеке, грудь к груди. – Все такой же статный, сильный...

– И ты, Дуня, ты, моя ненаглядная, така ж первая посреди всех... Тока о тебе думалось, тока к тебе хотелось, к тебе одной...

– Ой, – вдруг встрепенулась. – Забыла о главном...

Побежала в другую комнатку, вернулась с гармонью в руках.

– Ты помнишь, такая ж была у тебя.

И – верно. Данила вертел гармонь, пробовал тягость мехов, нажимал на кнопки, оглядывал перламутр, искал приметное – не мог поверить, что это, не его, Данилы, гармонь.

– Не рви душу, – мягко говорила Евдокия. – Не твоя. В том поезде ехал гармонист. И когда я увидела его гармонь, то не могла глаз оторвать. Ходила за ним по вагонам, слушала его игру, смотрела на меха, на кнопки, и все мне чудилось, что она в твоих руках, а не в чужих. А когда поезд разбомбили, ползу я беременная, все во мне болит и кричит, и надо же – натыкаюсь на этого, уже мертвого, гармониста. Лежит он, скорчившись, а между грудью и согнутыми коленками – она, его гармошка. Он – исполосован осколками, а она, гармошка, целехонькая... Взяла я ее обеими рученьками и потянула легонько. И что ты думаешь? Поддалась она на мое желание – взять, согреть живым теплом, даже словно всхлипнула планками. И уже никому я ее не отдала. Таскала с собой и за собой: в одной руке – дитенок, в другой – гармоника. Так и живем вместе с тех пор. Делим тоску-печаль на двоих. Ничьи мужские руки ее не касались, кроме сынка нашего Коленьки. Никому она не рассказывала о себе заветное... И как же я, глупая, мечтала лишь о том, чтобы руки моего Дани ее обогрели. – И чуть пошевелила губами, словно тронула свежим ветерком: – Сыграй... – И совсем неслышно: – Нашу...

Вспыхнули синие глаза Данилы Белова, и будто вернулась молодость. И сидит он в кругу однополчан. И все внимание к нему, на него. А вокруг – тишина. Не погибли еще Витя Заречных, Антон Долгих, Вася Куренной.

Нет, не потому он с гармонью в руках, что коротка человеческая память, а потому, что бойцам нужны силы для нового боя. Вот сидит его земляк Миша Распопин. Чуть поодаль с иголкой в руке штопает гимнастерку Коля Смоляков. А вот оперся на винтовку Саша Пестов. Рядом – разведчик Миша Ботвенко. Ближе к нему Никифор Путов. Полулежит на земле

шофер полуторки Максим Викторенко. Заворачивает самокрутку Яша Фешков. Что-то говорит Лариону Запысову Миша Ермаков.

Все они смертельно устали. И если соединить их усталость в одну, то земля под нею промнется. Не выкарабкаться будет из той ямы, и враг легко одолеет солдат.

И пальцы старшего сержанта Данилы Белова, что из Сибири, чутко ложатся на кнопки. Чуть давят на них. И тут же другая рука чуть растягивает мехи гармони. И льется мелодия.

И Данила запекает:

На вольном на синем на тихом Дону
Походная песня звучала.
Казак уходил на большую войну,
Невеста его провожала.

Чуть похрипывают басы, чуть выше всхлипывают голосовые планки. И так же спокойно, будто пересказывая всем известное, бойцы повторяют за ним последние две строчки песни:

Казак уходил на большую войну,
Невеста его провожала.

Густой голос Данилы крепчает, и начинается другой куплет:

«Мне счастья, родная, в пути пожелай,
Вернусь ли домой – неизвестно», —
Казак говорил, говорил ей:
«Прощай...»
«Прощай», —
Отвечала невеста.

Это уже прибавился грудной приятный голосок медицинской сестры Дуни Бадюло. И все повторяют за певцом:

Казак говорил, говорил ей: «Прощай...»
«Прощай», — отвечала невеста.

Они оба забылись, оба словно перенеслись в те военные годы, когда чувство их разгорелось до пожара в крови. До невозможности жить друг без дружки. До жарких поцелуев и горячих признаний. До великой радости находиться рядышком и до всесветной боли от сознания необходимости расставания.

Ему – снова за линию фронта на очередное задание. Ей – быть здесь, при медсанбате, готовой, в случае необходимости, снова ползти за раненым бойцом. И еще ползти. И еще...

И когда будет передышка, когда он вернется и вернется ли – бог весть. И будет ли новая песня, новая услада слышать его гармонь и его густой сильный голос?

А сейчас они снова вместе, и снова та же песня про расставание...

Над степью зажегся печальный рассвет,
Донская волна пробежала.
«Дарю на прощанье тебе я кисет,
Сама я его вышивала.

Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою,
За Русскую землю сражайся.
И помни Москву и невесту свою,
С победой домой возвращайся...»

– Ах, сердце мое, радость моя и печаль, – шептала, прижимаясь к Даниле, эта уже по сути пожилая женщина. – Я ведь и жила-то тем, что знала: ты – живой. И что ты помнишь меня, и когда-нибудь постучишь в дверь... И что ты уже в пути-дороге ко мне...

– А я, ведмедь сиволапый, рассиживался в своей тайге и ничегошеньки не понимал, совсем застыл сердцем...

– Я отопрею сердце-то твое, отопрею...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.